

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ

*Сборник
рассказов*

*Протоиерей Александр Авдюгин
Протоиерей Ярослав Шипов
Протоиерей Алексей Лисняк
Протоиерей Дмитрий Шишкин
Протоиерей Андрей Ткачев
Владимир Крупин
Олеся Николаева
Ольга Рожнева
Наталья Романова-Сегень
Владимир Щербинин
Александр Богатырев
Денис Ахалашвили
Елена Кучеренко*

Зеленая серия надежды

Коллектив авторов

**Формула счастья.
Сборник рассказов**

«Издательство Сретенского Монастыря»

2019

УДК 821.161.1-322.2
ББК 84 (2=411) 6-44

Коллектив авторов

Формула счастья. Сборник рассказов / Коллектив авторов —
«Издательство Сретенского Монастыря», 2019 — (Зеленая серия
надежды)

ISBN 978-5-7533-1567-0

В сборник вошли избранные рассказы из книг «Зеленой серии надежды»,
полюбившиеся читателям. Они разные, но их объединяет одно: счастье
человека - в том, чтобы увидеть Промысл Божий в жизни, в ближнем -
человека, в каждом событии, порой скорбном, - поворот к лучшему... И еще
открыть в своем сердце место для любви. Для широкого круга читателей.

УДК 821.161.1-322.2

ББК 84 (2=411) 6-44

ISBN 978-5-7533-1567-0

© Коллектив авторов, 2019
© Издательство Сретенского
Монастыря, 2019

Содержание

Протоиерей Александр Авдюгин	6
Рождественский Никола	7
«Глаза бы мои на вас не глядели!»	11
Мы не могли не встретиться	14
О войне, бесе и страусе	18
Денис Ахалашвили	21
Как мы нашли наше сердце	22
Снегопад	24
Бабушки	26
Протоиерей Дмитрий Шишкин	29
Светлана Петровна и святитель Спиридон	30
«Немудрая» Инна	38
Протоиерей Алексей Лисняк	42
Светлый кот	43
«Для имени Моего...»	45
Короткая сирень	47
Сашина философия	49
Протоиерей Ярослав Шипов	52
Русалки	53
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Формула счастья. Сборник рассказов



Протоиерей Александр Авдюгин



Рождественский Никола



Служба в Рождественскую ночь начиналась в четыре утра. Так принято было еще в том, старом храме, который сохранился лишь в памяти стариков. Они же, бабушки и дедушки, сквозь годы веру сохранившие и Бога не оставившие, своему священнику в новой церкви так и сказали: «Ты, батюшка, конечно, все уставы знаешь, но Рождество у нас всегда рано утром начиналось, и “Кто Бог велий” мы затемно пели, и из вертепа огонек всю церкву освещал...»

На том и порешили.

Обычно отец Андрей за пару часов до службы на своем стареньком жигуленке из города приезжал, но в Сочельник, накануне Рождества, разыгралась нешуточная метель, и батюшка решил остаться на приходе. Вечером, распрощавшись с очередными колядующими, пошел он запирать церковную дверь, иначе ходоки с кутьей, узнавшие, что священник на ночь домой не уехал, до утра бы его донимали. Проходя через храм (комнатушка батюшки слева от алтаря за пономаркой располагалась), отец Андрей в очередной раз споткнулся о взгляд с иконы, изображающей, как утверждал местный богомаз, святителя Николая. Станный взгляд. Не пугающий, не укоряющий, а какой-то останавливающий.

С иконой этой целая история приключилась. Пришел как-то в храм местный художник, вернее даже не художник, а работник шахтного клуба. Да и как ему было не прийти, если церковь новая расположилась именно в здании бывшего очага шахтерской культуры? Практически все свои работоспособные года, до самой пенсии, рисовал здесь художник афиши, писал лозунги с призывами, составлял стенгазеты и наглядные пособия по технике безопасности. Выполнял эти незамысловатые поручения шахтного руководства и профсоюзов мастер кисти и плакатного пера всегда четко и тщательно, налегая прежде всего на две краски: положительную и призывающую – красную, отрицательную и осуждающую – черную.

В церковь художник изначально практически не ходил, не мог смириться с тем, что на его рабочем месте теперь Богу молятся и там, где раньше его мастерская была, теперь батюшкина келья. Но время шло, все вокруг менялось, да и возраст заставлял о вечном думать. После очередной невзгоды откуда взявшейся болезни, когда скрутило так, что и о священнике вспом-

нил, и на икону, от матери оставшуюся, по-иному смотреть начал, зачастил художник в храм. Даже место себе там постоянное определил: за клиросом, в правом церковном углу, где народу поменьше.

Отец Андрей был рад новому прихожанину, а когда тот подошел к нему с предложением «нарисовать» икону Николая Чудотворца, батюшка с радостью согласился, тем более что прихожане ему не раз намекали о существовании местного мастера красок и кисти. Распечатал батюшка на цветном принтере несколько образцов иконы святительской, помог краски купить, и даже место в церкви для нового образа нашел. Отслужили молебен перед началом всякого доброго дела, и принялся художник за работу. К Покрову он представил свой труд.

С гордостью и сознанием четко и в срок выполненного долга внес мастер изобразительного искусства большую, в рост написанную икону святителя Николая Чудотворца в храм, установил ее у иконостаса и сдернул полиэтиленовое покрывало...

Батюшка застыл. Надолго. Слов не было, одни междометия. С иконной доски на священника прямым, волевым взглядом смотрел широкоплечий передовик социалистического производства с необъятной шахтерской грудью и натруженными монументальными руками. Жест правой, благословляющей длани скорее напоминал призыв к новым свершениям, а левая рука держала громадный красный том с золотым крестом, на место которого напращивалась надпись «Моральный кодекс строителя коммунизма». Одежда святителя сверкала всеми красками радуги и была выписана тщательно и ярко, именно так, как рисовали на цирковых балаганах и на гобеленах, висевших по сельским домам в далекие пятидесятые-шестидесятые годы прошлого века. Полноту «образа» завершала надпись над нимбом: «Николай Чудотворец».

Священник не мог подобрать слов еще и потому, что рядом с иконой стоял любующийся своим творением и ожидающий похвалы художник, а приключившиеся здесь две старушки почти хором воскликнули: «Красота-то какая!»

Раскритиковать, отругать и не принять данное «письмо» батюшка, глядя на гордого «иконописца» и прихожанок, сразу не решился. Лишь, смущаясь, смог вымолвить, что, мол, каноны иконописи нарушены да цвета слишком яркие и подобраны неверно. Критику художник и бабушки тотчас отвергли, а силы настоять и сказать категорическое «нет» отец Андрей не нашел. Да и понимал, что не одобрили бы прихожане его решительного отрицания. Художник-то свой был, родной и понятный, вместе с ними выросший и живший.

Маялся теперь настоятель с этой «иконой». В киот не поставишь, в иконостас тем паче. Приедет благочинный или владыка заглянет – неприятностей не оберешься. Вот и переставлял отец Андрей «Николая Чудотворца» с места на место и спотыкался раз за разом под взглядом, от него исходящим и останавливающим.

Батюшка не торопясь вычитал свое священническое правило, подсыпал угля в котел, поплотнее прикрыл форточки – метель разыгралась не на шутку – и отправился спать. Вставать рано, да и грядущий день рождественский всегда хоть и в приятных заботах проходил, но сил великих требовал.

Мобильный телефон уснуть не дал. Отец Андрей, уверенный, что это очередное поздравление с наступающим праздником, взглянул на дисплей – 22:30, а вместо имени набор неизвестных цифр. Ответил. Звонили из соседнего, расположенного в трех километрах от храма, умирающего по причине отсутствия работы небольшого поселка.



– Батюшка, это Сергей, фермер. Вы у нас на прошлой неделе младенца крестили. Помните?

– Конечно, помню, – ответил священник. – Мы с вами еще беседовали после крестин. Что случилось-то?

– Беда, батюшка! Температура под сорок у сыночка нашего. – Голос фермера срывался и был настолько тревожным, что тревога эта передалась и священнику.

– Врача вызывайте! – потребовал отец Андрей, но, взглянув на забитое снаружи мокрым снегом окно, понял, что совет этот невыполним. Усадьба фермерская в балке, под горой располагалась; оттуда и без снега, в дни дождливые, на машине выехать было проблемой, а сейчас, когда бушевало снежное и гололедное ненастье, ни о какой машине и речи быть не могло.

– Одевайте потеплее ребенка, – распорядился священник, – и выходите пешком наверх, к трассе. Я на шахте транспорт раздобуду.

Другого выхода батюшка не видел и решил сам отправиться на шахту на своей машине. Тщетно. Машина буквально вмерзла в снег, и даже если бы отец Андрей ее как-то освободил от обледенения, уверенности, что старый автомобиль заведется и сможет куда-то доехать, не было никакой. В отчаянии священник бросился к телефону.

Директор шахты был на месте. Выслушал. Посочувствовал и извинительным тоном окончательно расстроил: «Понимаете, отец Андрей, все три трактора дорогу чистят к городу, чтобы ночную смену на работу доставить».

Батюшка не знал, что теперь делать...

Он просто представил мать и отца со своим закутанным в одеяла первенцем, бредущих по заледенелой дороге сквозь пронизывающий снежный ветер. Идущих и ожидающих спасительную машину.

Отец Андрей зашел в храм. В центре стоял вертеп, освещенный внутри маленькой лампадой. Над Младенцем Христом склонилась Богородица, рядом опирался на посох праведный Иосиф...

Священник невольно подумал: «Они нашли убежище» – и взмолился: «Господи, ну подсажи, что мне делать! Погибнет малец. Не донесут они его до больницы».

И тут вновь этот останавливающий взгляд неканонического святителя Николая. Батюшка буквально бухнулся пред ним на колени. «Хоть ты помоги, Никола!» – кричала душа, вопило сердце.

Прошло лишь несколько мгновений, а может, больше. Бог весть. Но через окна церкви вдруг брызнул мощный свет подъезжающей машины, а потом заколотили в церковную дверь:

– Открывай, батя, кутью принесли, Рождество встречать будем! – кричало несколько голосов.

Священник отодвинул задвижку и распахнул двери. Перед ним стояли пятеро не совсем трезвых, чрезвычайно веселых незнакомых представителей молодого бизнес-поколения. За ними возвышался громадный джип, семейство которых настоятель ласково называл «гардеробы».

– Будем встречать, будем! – радостно закричал отец Андрей. – Кто водитель?

И, определив самого трезвого, распорядился:

– Всем остаться у меня в келье! В тумбочке кагор и печенье, а с водителем мы сейчас кое-куда съездим.

Закутанную и покрывшуюся ледяными сосульками семью с ребенком на руках батюшка встретил еще в начале пути, который им предстояло пройти. Через полчаса мать с хныкающим и горячим от температуры младенцем были в больничной палате.

* * *

В храме батюшку встречала иллюминация. Гости, найдя в лавке ящик со свечами, расставили их в каждое гнездо всех шести подсвечников, зажгли и хором распевали:

Добрий вечір тобі, пане господарю,
Радуйся, ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами,
Радуйся, ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!

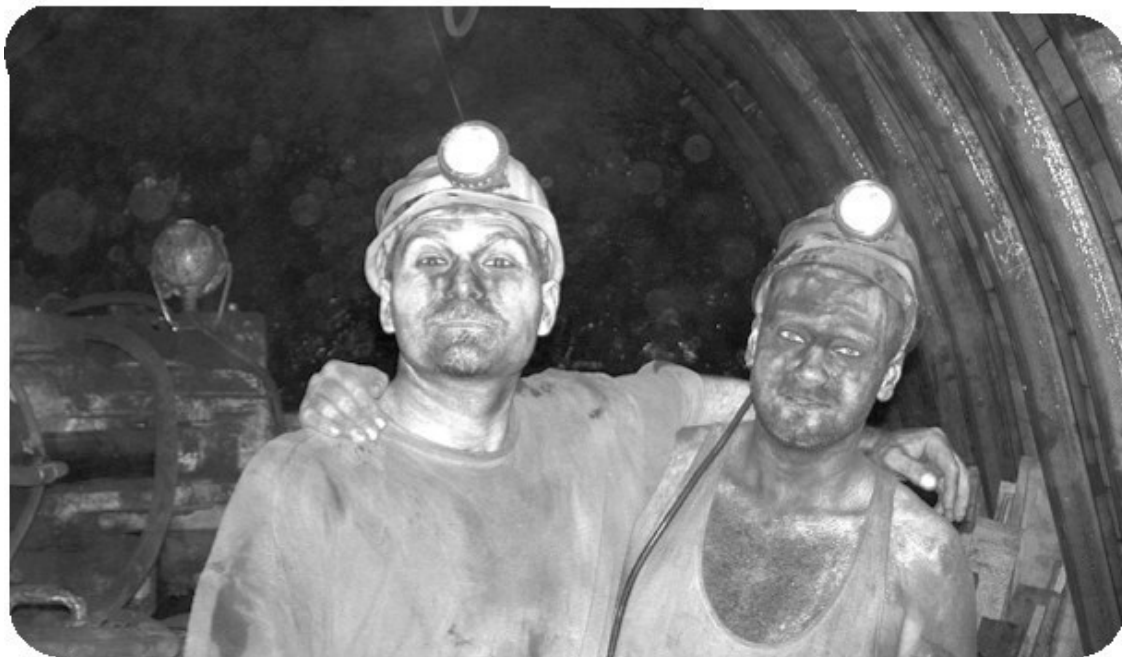
Батюшка тут же присоединился:

Бо прийдуть до тебе три празники в гості,
Радуйся, ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!

А перший же празник – Рождество Христове,
Радуйся, ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!

А затем тихонько, чтобы гостям не мешать, подошел священник к теперь уже своему, абсолютно каноническому святителю Николаю и поцеловал его благословляющую руку...

«Глаза бы мои на вас не глядели!»



Собственно, именно с этого возгласа все и началось. Да и не могло не начаться, потому что я, расстроенный очередной топорной работой нанятых шабашников, разогнал строительную бригаду и в печальной задумчивости сидел на ступеньках церковной паперти. Через неделю после заключения «договора», по которому обещали выполнить работу качественно и в срок, выяснилось, что все делалось тяп-ляп, по принципу «день с прохладкой, ночь с присядкой».

Рядом крутился Харитоныч, который бурчал себе под нос нелестные определения вслед изгнанным строителям, оказывая мне тем самым, как ему казалось, моральную, духовную и вообще приходскую поддержку.

Бурчи не бурчи, но угольник необходимо срочно доложить и надеть на него крышу, так как оставлять уголь под открытым небом по нынешним временам значит ввести в искушение добрый десяток жаждущих выпить сельчан. Бесхозное домашнее топливо в размере одного ведра, хоть и обретаемся мы на Донбассе, как раз на пол-литру напитка местного производства тянет.

– Езжай до дому, батюшка, – что-то решив для себя, сказал Харитоныч. – Утром сподручнее думать.

Деду я верю, потому что его житейская хватка проверена на практике. Еще в первые приходские годы, когда строили храм, он смог договориться и пригнать громадный кран, чтобы купол на церковь водрузить. Я исходился весь по инстанциям, выпрашивая этот подъемный механизм с длинной нестандартной стрелой, но везде наткнулся или на сочувственное «нету», или на безразличный взгляд, в котором откровенно читалось: «Тебя тут еще не хватало!» Узнав, что в соседнем городе есть нужная машина, зачастил я к начальнику этого механизма. На третий мой визит он заявил, что может дать только экскаватор с бульдозером. На мое удивленное «Зачем?» начальник отвечал: «Чтобы для вас, племя поповское, яму выкопать, покидать всех туда и загорнуть».

Узнав, кто такие воинствующие атеисты, и поняв, что угроза искренняя и вполне реальная, я окончательно расстроился и в духе сокрушенном вернулся на приход.

Харитоныч же, тоже опечаленный «иродами безбожными», через день пригнал нужный кран со строительства ближайшей шахты, куда я и обращаться-то побаивался. Пригнал и за пару часов купол на церковь водрузил.

Так что упование на старичков приходских, которые что-нибудь придумают, меня не оставляло. Хотя, конечно, на зиму глядя надо было сарайчик поменьше строить и своими силами обойтись, но уже начали, да и в хозяйстве нужно такое сооружение, чтобы и уголь, и дрова, и инструмент необходимый под крышей на своих местах находились...

На следующий день вокруг возведенного на треть сарая были чистота и порядок: леса выровнены, кирпич аккуратно сложен рядышком, песок к корыту растворному поднесен. Наверное, сторож со старичками постарались. Помолился я за тружеников храма сего, а сам все думаю думаю, где каменщиков взять. Недодумал. Через день на четыре ряда кладка кирпичная выросла, причем чистенько так кирпичики лежат, под расшивочку. Старикам сие творчество никак не под силу, да и пономари не смогли бы так сложить.

Походил я вокруг, поудивлялся. Как и давеча, прибрано все чуть ли не под метелку и так положено, что хоть сейчас раствор мешай и продолжай стены класть. Странно...

Пошел к старосте. Тот говорит: «Сам удивляюсь, отец. Видно, молитесь усердно, вот ангелы и помогают».

Насчет того, что мои молитвы могли хоть часть ангельского мира в каменщиков преобразовать, я крупно засомневался, тем более что староста глаза хитро щурил. Ладно, думаю, все равно узнаю. Главное, чтобы каменщики эти невидимые по завершении стен стариков моих пенсии не лишили. Такая кладка сейчас дорого стоит.

Пробыл на приходе до вечера в надежде увидеть, кто же эти ангелы во плоти... Не дождался. Уехал.

Утром удивлению моему не было предела. Стены выгнаны до перемычек оконных, да и сами перемычки бетонные – таких у нас на приходе отродясь не было – лежали на положенном им месте, выровненные и укрепленные.

Около стройки староста с Харитонычем планировали, какую крышу соорудить и как прикрепить ее к стенам так, чтобы ветром не сдуло.

Благословив откровенно ухмыляющихся стариков, я уже с неподдельным пристрастием стал допытываться «Кто?» и «За сколько?»

– Так, отче, мы же и говорим, что быстро да хорошо, а кто – Бог весть.

– Ангелы, батюшка, ангелы... – не унимался староста. – Вы, дорогой наш пастырь, идите служите, чтоб они нам и крышу с Божьей помощью поставили.

Сказать мне было нечего. К тому же меня откровенно выпроваживали, будто услышали последние слова архиерейские, на собрании сказанные, что священник больше о службе думать должен да править ее достойно, а заниматься стройками и хозяйственными делами Богом определены приходские подвижники.

Так больше продолжаться не могло, и я, никому не сказав, остался ночевать в своей келейке приходской. Дело уже было к осени, ночи длиннее стали, да и новолуние на те дни как раз пришлось. В общем, как стемнело, сел я на крыльце своего приходского домика и стал всматриваться в темноту. Смотрел и думал: «Если они ночью кладку делали, то как? Света во дворе церковном – два фонаря. Один у паперти, другой у домика священнического. Толку-то от них! Лишь к сараю дойти по тропке и видно, но чтобы кирпичную кладку вести – и разговора быть не может. Что-то здесь не так».

Вся эта ситуация напомнила мне ершовского «Конька-Горбунка», а так как там лишь на третью ночь Иван коней поймал, то я тоже решил, что никого сегодня не дожусь и смогу в тишине деревенской, под кваканье лягушек и на благоухающем, чистом, густом, как кисель, воздухе, отоспаться за последние суетные дни.

Когда вечернюю молитву к ангелу-хранителю читал, добрую ухмылку старосты вспомнил и в спокойствии душевном в предвкушении сна сладкого улегся под домашнее лоскутное одеяло, откровенно радуясь, что остался.

Сквозь наплывающий сон показалось, что где-то затарахтел мотоцикл. Не обратил внимания. Уснул. Сколько спал, не помню, но проснулся от приглушенного разговора и мелькания света. Причем свет этот четкими лучами с разных сторон светил и перемещался то быстро, то медленно. Щелкнул выключателем – в келье электричества не было, не гудел и холодильник в коридоре. Из окошка ничего толком не видно. Стройка, а свет там мелькал, в стороне немного, как раз за углом.

Надел подрясник и вышел на крыльцо. Над стенами сооружаемого угольника видны были три яркие точки, лучами упирающиеся в кирпичную кладку. Под лучами мелькали руки, но туловищ, голов и ног не существовало. Не было, и все тут!

Ангелы! Прав староста. Подумалось, но не поверилось, а вот испуг пришел, тем более что верхний огонек как-то резко опустился вниз и на высоте примерно двух метров направился ко мне, через мгновение выхватив из темноты мою фигуру. Фигура, должно быть, выглядела довольно странно. В надетом на голое тело кое-как застегнутом подряснике, с взлохмаченной бородой и перепуганным лицом...

– О, батюшка! – удивленно вымолвил ангел.

«Что» это говорило, я так и не понял, потому что с двухметровой высоты в меня бил слепящий луч, под которым ничего не просматривалось, – вернее, там была темнота.

Остальные два луча мгновенно обратились в мою сторону, и тут мне вспомнились гуманоиды, пришельцы и прочие «иночеловеки», о которых тогда много и повсеместно говорили. А о ком прикажете думать, ежели на меня смотрели три светящихся луча без признаков существования рук и ног?

Перекреститься я, наверное, забыл, но вот рот все же открыл чего-то там сказать, но сказать не удавалось...

Из оцепенения меня вывел знакомый голос харитоновского зятя:

– Эх, не получилось, чтобы «тайно образующе»!

Уж мне ли не знать этого голоса, если он каждое воскресенье Апостол читает!

Тут три луча согласно закивали и захохотали, выхватывая светом чумазые от угля лица. Это были наши сельчане-шахтеры. Ребята крупные, высокие, в горняцких касках с коногонками (так и по сей день светильники шахтерские именуют). Естественно, свет этот не менее чем в двух метрах над землей находился, под касками – черные шахтерки с такими же черными руками, а вокруг темнота... Вот и шагает свет сам над землей, если чуть со стороны смотреть.

Ребята, поняв мой перепуг, перешедший в тихий ужас, а затем в изумление, расположились вокруг и рассказали:

– Да тут, батя, старики попросили нас по вечерам доложить кладку, а мы не успели. Вот и решили после третьей смены закончить, чтобы вас удивить. На-гора выехали, а в баню не пошли; решили, что отмоемся после того, как закончим. Работы-то тут на пару часов осталось...

Смотрел я на них, и слезы наворачивались на глаза. Шахта, она ведь не просто работа. Тяжело там. Очень тяжело. И живут ребята не в городе, где иных забот поменьше. А тут хозяйство гогочет и мычит, огород надо сажать и убирать, а они вот еще ради того, чтобы удивить, ночью, после третьей смены, раствор мешают и кирпичи таскают.

Нет, дорогие мои, только ангелы так могут. Пусть и черные от угольной пыли, да и словцо в речь свою не очень ангельское иногда вставляющие, но ангелы. Вы в их душу посмотрите, а потом и судить будете...

А за то, что напугали меня до смерти: «Глаза бы мои на вас не глядели!»

Мы не могли не встретиться



Вечером мы собирались «на лавочке». Место это такое у дома Коли Малиновского. Дом старый, войну переживший, от шумной улицы высоким каменным забором огороженный и кустами сирени прикрытый. Там стол стоял с двумя лавочками, местными доминошниками сооруженный. К вечеру пенсионеры, любители забить козла, отдыхать расходились, уступая место молодому поколению Портянки – так наш район называли по причине его расположения вдоль не утихающей ни днем ни ночью улицы Портовой.

Иногда и мы домино баловались, но больше все же разговоры разговаривали да по приемнику «Спидола» или только что появившимся ВЭФам контру ФРГ ловили, как Высоцкий пел. Западные станции нещадно глушились, поэтому местные умельцы перестраивали нам коротковолновые диапазоны на такие частоты, где «глушилки» работали не всегда.

Политика как таковая нас интересовала постольку-поскольку, а вот музыкальные программы Севы Новгородцева из Би-би-си и рок-обзоры «Голоса Америки» были нашими. Мы их даже всеми возможными способами на ленточные магнитофоны записывали.

Сева Новгородцев из Лондона в 23:30 по субботам всегда в эфире о музыкальных новинках вещал, а в полночь после новостей какой-то священник о Боге говорил, что было, конечно, любопытно, но не столь интересно. Наверное, так и приглушали бы мы звук после Севиной передачи, но как-то он всю программу рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда» посвятил и так вдохновенно сюжет пересказывал, что стало ясно – в головах наших полное отсутствие знаний библейских. Обидное открытие и досадное.

Нет, о религии нам в школе рассказывали – естественно, как о пережитке и полной ненужности, – но то, что Христос может стать героем рок-оперы, было непонятно, а поскольку Сева пользовался безусловным авторитетом, решили мы лондонского попа слушать, авось просветит...

После двух-трех передач четко определилось: надо бы почитать Библию и Евангелие. О том, что это одна книга, мы еще не знали, как не знали и о том, что найти в начале 1970-х в Ростове Библию не так просто.

На книжной толкучке в парке у областного драмтеатра, где не только менялись книжками, но можно было из-под полы приобрести практически все, что издавалось и в СССР, и «за бугром», на наш вопрос: «Где купить Библию?» – нас откомандировали к завсегдаю ростовского книжного бомонда сухонькому старичку с необычным именем Порфирий.

Порфирий благосклонно выслушал, внимательно на нас посмотрел и изрек: «Царская – пятьсот, современная – триста пятьдесят».

По тем временам подобные цены на книгу кого угодно могли ввести в ступор, а для нас они вообще казались фантастическими. Да и как не казаться, если месячная зарплата у тех из нас, кто работал, не превышала 120—140 рублей, а студентам стипендии разве что на пирожок с компотом и проезд до института хватало?

Решили в церковь пойти.

В ростовском соборе было малоллюдно, прохладно и тускло. Служба уже окончилась. У темных икон горели свечи. Незаметные бабушки мыли каменные плиты пола. Слева, у длинного стола с продуктами, стоял священник с каким-то парнишкой в темном облачении до пят. Священник бесконечно читал имена из маленьких книжечек, а его помощник складывал их в длинные ячейки странных ящичков, похожих на перевернутые полки.

Подойти к священнику постеснялись, да и занят он был, поэтому обратились к женщине, продающей свечи и крестики.

Она, как и Порфирий на книжном рынке, внимательно выслушала и, пристально нас рассмотрев, ответила: «Ребята, Библий мы не продаем. У бабушек своих спрашивайте...»

Бабушек имели все. Иконы в их домах и квартирах были, а вот Библия... Уж нам ли, внукам, не знать, что у бабушки есть и чего нет?

Хотя, поразмыслив и перебрав родственников, все же решили Библию по селам и страницам поискать. Может, и сохранилась у кого.

Через неделю Витька Рыбак принес «на экспертизу» толстую книжку с крестом, написанную непонятным языком (как выяснилось позже, церковнославянским). Фолиант именовался странным названием «Трїѡдъ Постная». Общими усилиями разобрались, что перевернутая английская «дубль вэ» означает «о», но понять, что такое «Триодъ», не смогли. Помог «Словарь атеиста», где популярно разъяснялось, что это богослужбная книга, которую поют и читают на службах во время Великого поста, а также говорилось, что во времена этих постов тысячи наших предков изнывали от голода и болезней. Еще в словаре было написано, что Триодъ эта по библейским текстам составлена. Но что толку расшифровывать отрывки на непонятном языке, не зная их смысла?

Дома на вопрос, где Библию почитать, – удивленные взгляды родителей без комментариев и пожатие плечами.

Странно. Книги Солженицына вкуче с Войновичем и Аксёновым, да и прочих писателей-диссидентов, за которых из института выгоняли и на пять лет на БАМ высылали, найти для нас проблемы не составляло, а вот Библия оказалась книгой недоступной.

Приближались майские праздники, три дня выходных. Все вместе, а нас пятеро друзей было, отвергались всеми правдами и неправдами от первомайской демонстрации и несения знамен с лозунгами и отправились по широкому после весеннего половодья Дону в дальнее село, в устье реки на острове расположенное. Мы туда всегда на рыбалку ездили. Отцы наши на это дело положительно смотрели, лодку моторную выпросить у них было несложно. Там, за селом, в донских ериках¹ и заводах мы не только хорошую рыбу ловили, но еще и абори-

¹ Ерик – небольшой проток, соединяющий два водоема. – *Примеч. ред.*

генами себя чувствовали. Вокруг только камыши да ивы с лозняком на островах. Днем птиц разноголосье, а вечером тишина первозданная. Даже лягушки замолкают. Если бы не комары донимающие – чистый рай. Мы так и назвали свой островок – Рай. Наверное, у каждого из нас есть такое место, где, кроме друзей самых близких, никого видеть не хочется. Таким для нас этот Рай был.

В селе докупили продуктов. Дров у знакомого рыбака за пол-литра выменяли. Майские ночи на Дону еще прохладные, хворостом не обогреешься. Долили в лодочный мотор бензина – и в Рай...

Еще на подходе к острову услышали запах дыма, а затем и два удилица увидели. Они над камышами торчали, как признак того, что наша робинзонада приказала долго жить.

И точно. На любимом островке, который от силы сто метров в длину да тридцать в ширину, в заливчике, куда так любили на утренней зорьке донские чебаки² заходить, сидел пожилой мужик с небольшой окладистой бородой и читал толстую книгу. Заметив нас, он приветственно помахал рукой – мол, подходите, места хватит. Наши кислые лица, видно, ничего ему не говорили. Мы даже не поздоровались. Да и как здороваться с оккупантом?

Дело шло к вечеру, искать иной остров уже было некогда. Да и где его в этих зарослях найдешь?

Выгрузились. Палатку установили. Стали снасти разбирать да костерок разжигать. Коля Малиновский, как самый главный и ответственный, все же решил к оккупанту подойти. Ведь как ни злись, ночевать вместе придется.

– Дед, клюет рыбка-то? – вместо «здрасьте» спросил Николай.

– Да Бог весть, сынок, может, и клюет, – ответил дед и продолжил: – Я вот поймал три штуки, мне хватит на ужин.

И точно, мы сразу обратили внимание, что старик все это время на поплавки не смотрел. Уткнулся в свою книгу и головы не поднимает.

– Что, книжка интересная? – решил до конца разобраться Николай.

– Интересная, – коротко ответил старик, а затем взглянул на нас по-доброму, доверительно, и добавил: – Про вас, сынки, книжка написана. Про апостолов.

Разговор получался насколько странным, настолько и интересным. Мы все к старику подошли.

– Это почему же про нас, дед? – не вытерпел Витька Рыбак.

– И чего это мы апостолы? – спросил я.

Дед усмехнулся, еще раз осмотрел нас добрыми глазами и ответил:

– Так апостолы рыбаками были. И тоже сетью рыбу ловили. Вечером в море уходили, к утру с уловом возвращались. Про это в книжке прописано, – указал дед на толстый фолиант в зеленой обложке.

– Какой еще книжке? – не унимался Витька.

– Да в Библии, – просто ответил дед.

Обычно ироничные еврейские глаза Коли Малиновского стали среднерусскими, а у остальных физиономии выражали такое ошеломление, что наш собеседник рассмеялся. Смех у него был странный. Располагающий такой смех. После него еще поговорить хочется.

Рассказали мы нашему нежданному соседу, перешедшему из ипостаси «оккупанта» в ранг интереснейшего собеседника, как долго мы в Ростове Библию искали, как ее почитать хотели.

– Почитать мало, апостолы вы мои, – ответил старик. – Ею бы жить надо.

– Это как? – не понял я.

– Долгий разговор, сынки. А мне собираться надобно, пока совсем не стемнело.

² Рыба семейства карповых, к которому относятся лещ, елец, плотва.

Старик вытащил из воды кукан³ с тремя небольшими сазанчиками, смотал удочки и потянул за веревку, которую мы в траве и не заметили. Из прибрежного камыша выскользнула небольшая лодка. Погрузив свой улов и снасти, старик обернулся к нам и просто сказал:

– Возьмите, сынки, книжку. Она вам сейчас нужна, а мне, как кажется, уже без надобности.

Мы, ничего не понимая, молча провожали старика. Только спросили у него, где он живет-то, чтобы Библию после отдыха нашего завезти.

– Да тут, рядышком, – ответил старик и назвал село, куда мы заходили за продуктами.

Все три дня мы по утрам будили друг друга словами «Вставай, апостол» и по очереди вслух читали Библию. Нет, рыбу тоже ловили, но все же главной была Книга.

Возвращались через три дня. У сельского причала женщины белье полоскали. Спросили у них, где тут дед живет с бородкой, добрый такой?

Женщины удивленно на нас посмотрели, а одна из них заплакала.

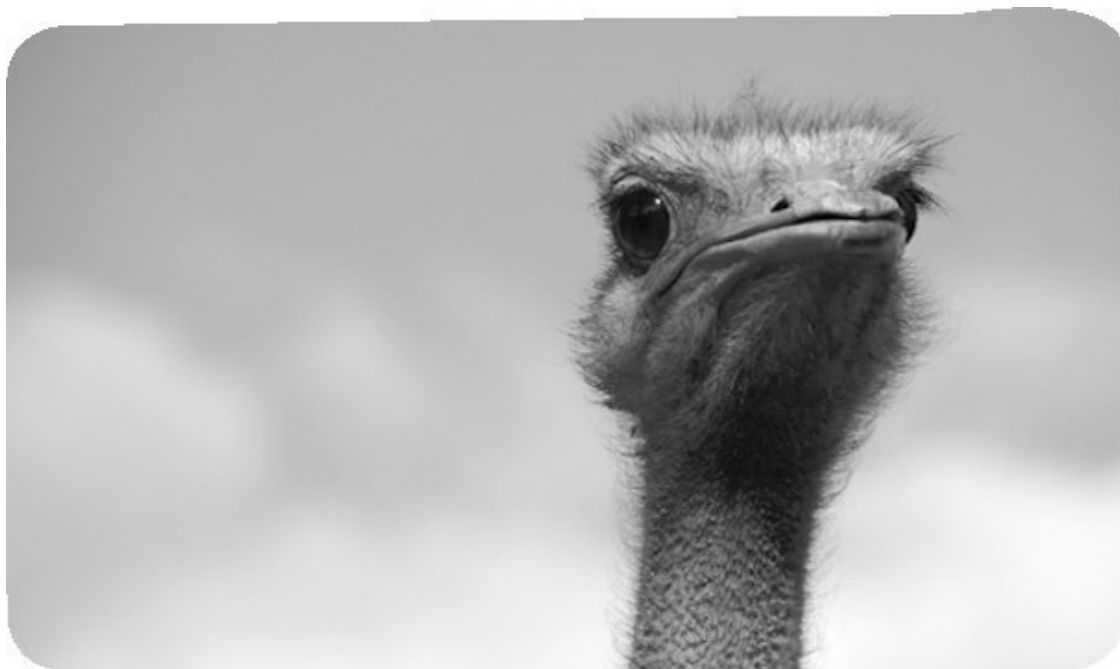
– Нету уже деда вашего, ребята, в обед похоронили...

* * *

Много лет прошло с тех пор, но слова этого деда: «Возьмите, сынки, книжку. Она вам сейчас нужна, а мне, как кажется, уже без надобности» – я помню. А вот как звали его, мы так и не спросили...

³ Бечева, на которую нанизывают пойманную рыбу.

О войне, бесе и страусе



Село это, как, впрочем, и окрестные поселения, по балочке растянулось. Точно посередине его пересекает трасса, ведущая в областной центр. Можно разогнать машину километра за три до первых сельских строений и катиться с горки до самого центра с магазином, памятником, клубом, школой и церковью. Дальше небольшая речушка, поросшая лозой с ивняком, и опять вверх, на новый бугор.

Половина села в огородах да в «колхозе» (сколько ни меняй форму собственности, название старое, привычное осталось) трудилась, хлеб насущный зарабатывая, другая же половина на недалекую шахту ездила уголек рубать. Наглядный пример смычки крестьянства и рабочего класса.

Мирное село, безобидное, но со всеми полагающимися деревенскими особенностями, то есть в обязательном порядке есть авторитет, официальной властью не наделенный, но все по полочкам раскладывающий и всех примиряющий; в наличии местный юродивый, которого все гонят, но почему-то кормят и одевают; в любой год имеется умеющий лечить травник, а также творящая заговоры и снимающая сглазы ведьма, которую даже недавно построенная церковь из обихода не вывела. В общем, всё как положено и из века в век расставлено.

Как известно и исторически доказано, все беды к нам с Запада приходят, начиная с коммунизма, нравственной грязи, называемой «демократическими ценностями», и заканчивая колорадским жуком. Вот и война эта, неожиданная и никому не нужная, оттуда же притопала.

Не верили изначально сельчане, что такое вообще возможно. Даже когда грохотать вдали начало и земля под ногами подрагивала, а ночью стало видно зарево горящих полей, гнали они от себя мысль, что и на их подворья придут разорение и смерть. И лишь когда украинский самолет по-хозяйски в ключья разнес сельскую подстанцию, оставив пять окрестных сел без света, поняли, что беда близка.

Потянулись вереницы пожилых людей в дальние от дороги хутора, а молодежь с маленькими детьми, погрузив в легковые машины самый необходимый скарб, – в Россию. В селе осталась пара сотен жителей, решивших: «Как Бог даст, так и будет».

Еще за день до того, как противоположные бугры заняли ополченцы и украинская армия, оставшиеся сельчане проснулись от рева коров, бляньня коз, утиногo кряканья и гусяного гогота. Да и немудрено, кормить и доить их надобно, ведь в безопасный тыл худобу вкупе с пернатыми не забрали. Просто открыли сараи и птичники: гуляй не хочy. Птица приспособилась быстро, июль на дворе. В огородах все спеет, зеленеет и произрастает. Утки с гусями к местному ставку⁴ подались, да там и поселились, а вот коровы с козами...

Бедные сердобольные старушки, село свое покидать отказавшиеся, целыми днями с «молочной» скамеечкой по подворьям ходили, коз и коров доили, а вечером, когда вместе собирались, не могли решить, куда эту прорву молока девать.

Дворняги местные, с цепи спущенные, сначала погрызлись между собой немного, а потом лучшее занятие нашли. Дело в том, что украинский летчик, трансформаторную будку уничтоживший и отчитавшийся, что разгромил бронетанковую колонну российско-сепаратистских войск, стрелять, видимо, прицельно не умел, поэтому попутно уничтожил крольчатник сельского фермера. Кролики, оглохшие от взрывов, неожиданно обрели неведомую им свободу и, не зная, что с ней делать, жались к дымящимся остаткам собственного жилья, не понимая, что любимое ими сено и капуста растут рядышком и в большом количестве.

Стадный рефлекс, как всегда, везде и для всех, стал для данных зверьков гибельным. Их заметили и учуяли собаки. Кроличье сафари продолжалось даже тогда, когда военные украинцы вступили в боевое соприкосновение с военными ополченцами. Ни автоматные очереди, ни минометные обстрелы, ни пакеты «Градов» истребления кроличьего поголовья не прекратили.

На третий день после исхода основного населения над селом загрохотало. Окопавшиеся на противоположных буграх военные нещадно обстреливали друг друга из всего оружия, которое было у них в наличии, а так как⁵ зброя данная у обеих сторон была образца хрущевских семилеток, артиллерийские снаряды летели как попало и куда попало, а пулеметы, как у незабвенного Попандопуло, «в своих пуляли».

От непрекращающихся целыми днями обстрелов, разрывов и свиста летящих над селом снарядов и ракет шевелилась под ногами земля, вздрагивали деревья, загорелись уже поспевшие поля с ячменем и пшеницей.

В первый, да и второй вечер огненного противостояния, когда залпы немного утихали, пробирались по-над заборами и плетнями оставшиеся в селе старики друг к другу.

– Семен, ты живой там? – кричит старушка в сторону соседского погреба и боится, что не услышит ответа, потому что рядом с подвалом, где был сенник и стояла скамейка, зияет большая земляная дыра от прилетевшего неизвестно откуда снаряда.

– Живой, Фрося, живой, – слышится в ответ.

– Ой, слава Тебе Господи! – крестится старушка.

И так по всему селу. Зовут друг друга, заглядывают в окна, боясь не услышать и не увидеть. И хоть понимают, что лучше в разных подвалах и погребах лихо это смертельное пережить, чтобы не всех снарядом или ракетой накрыло, но одному или одной еще страшней, еще горестней. Вот и сформировалось в селе несколько «подвальных», как дед Семен говорит, «подпольных» группировок. Как только загрохочет с любой стороны, так и семят старики к ближайшему подвалу.

– Страшно было? – спрашиваю у нашей прихожанки, которая еще немецкую войну помнит.

⁴ Небольшой пруд.

⁵ Вооружение.

– Да как же не страшно, батюшка? Как и в ту войну, германскую, боязно. Смертушка и так нерадостна, а когда безвременная, да свои в своих стреляют, ох как страшно. Сидим в погребке, друг ко дружке прижмемся и все молимся да рассуждаем: как же Бог попустил нам горе такое?

– Ну и почему попустил? – не удерживаюсь от вопроса.

– Как почему? Ясно тут все, не слушали мы Его, – отвечает старушка. – Сначала народ один разделили, теперь пучочками делят и переламывают, а дальше стебельки останутся, их просто согнут, и будут они не Богу кланяться, а тем, кто богами себя считают.

Но это уже позже разговоры разговаривали да дни, грохочущие смертью, вспоминали, а сельское прошедшее лето, которое теперь последующие поколения не иначе как военным называть будут, еще одним событием запомнилось.

Дело в том, что рядом с кроликами аккурат перед приходом «освободителей», которых жители исключительно карателями величают, приобрел местный фермер трех страусов, которых и поселил рядом с крольчатником. На кой ляд они были нужны, до дня нынешнего непонятно. Сельчане решили, что купил он их лишь для того, чтобы перед друзьями своими похвастаться. Не перевелись ведь в селах наших оригиналы: один свиней вьетнамских растит, другой петухов заморских коллекционирует, ну и третий решил свою неординарность изобразить – страусиную ферму основать.

Страусов отродясь никто в селе не видел, ведь завезли их незадолго до того, как со стороны, откуда жалкие пенсии и зарплаты к нам приходили, пушки на гусеницах приехали да машины с трубами, из которых пакетами смерть грохочет, пожаловали.

Первая артиллерийская пристрелка «освободителей» окончательно уничтожила не только остатки крольчатника и бывшую ферму вкупе с ремонтными мастерскими, но и зацепила несколько подворий. Досталось и страусиному жилью: в щепки сарай и высокую изгородь разнесло. Самый младший страус сложил свою африканскую голову на земле донбасской, а два его собрата остались целы и, естественно, очутившись на воле, пошли знакомиться с окружающей действительностью, чем и спасли оставшуюся часть кроличьего поголовья.

С визгом разбегались от этой невидали собаки, тревожно отпрыгивали в стороны козы, свиньи и телята. Да и как не испугаться, если на тебя страшилище роста великого, с глазами как блюдца, с шеей неестественно длинной, ногами костлявыми, да еще и в клочьях перьев, стремглав несется?

«Освободители» убралась восвосяи несолоно хлебавши. Когда ополченцы прогнали их, предварительно отобрав практически все, что стреляло и на гусеницах ездило, поделилась со мной одна старушка своим переживанием. Тихонько рассказала, чтобы никто не слышал. Боялась, наверное, что не поверят ей или скажут, что с глузду бабка съехала.

– Батюшка, а ты знаешь, я ведь беса бачила.

– Когда? – спрашиваю.

– Да когда нас убивать пришли.

– Может, показалось вам?

– Да нет, батюшечка. Точно бачила. С погребка вылезаю, как стрелять прекратили, а он стоит и на меня смотрит.

– Кто?

– Так бес же, отче! Здоровый, шея длинная, облезлый весь, очи черные, вместо рта клюв с зубами и лапы страшнющие, как у внука в книжке дракон... Может, грех на мне какой большой? Так я, кажись, уже обо всех рассказала. Теперь страх на мне великий: чем же я так Бога прогневала, что Он ко мне беса попустил?..

Бабушку я успокоил, да и односельчане, наверное, ей объяснили, что это за бесьяка был, на дракона похожий.

А страусы куда-то ушли. Видели ополченцы, как они по балке перемещались, а вот куда делись, неизвестно. Может быть, в Африку к себе убежали, туда, где войны нет?

Денис Ахалашвили



Как мы нашли наше сердце



Что у меня есть сердце, я узнал от подружки Иринки во время сон-часа в детском саду, куда по очереди водили нас наши родители. Мы жили по соседству, и родителям было удобно отправлять нас вместе, чтобы другим можно было выспаться. К тому же, если ты держишь Иринку за руку, можно было идти с закрытыми глазами и не свалиться куда-нибудь в канаву. Я часто так делал, а Иринка говорила, где мы идем. Я собирался стать разведчиком, а, как известно, любой разведчик должен уметь ходить в темноте. Единственное, чему я так и не научился, – это пить теплое молоко с пенками, которое нам давали в садике на завтрак. Никакие воспитатели или фашисты не заставили бы меня его выпить ни под какими пытками. Зато я мог с легкостью залезть на самое высокое дерево у нас во дворе или выпрыгнуть из окна второго этажа с зонтиком нашей воспитательницы. Родителям пришлось покупать новый зонтик и извиняться, я ободрал колени и получил нагоняй, зато все в нашей группе сошлись на том, что, если бы под рукой был парашют, я бы никуда не упал, а очень даже замечательно улетел бы в тыл к врагам и такое бы им устроил, что мало не покажется!

А сейчас я лежал в кровати, смотрел на аквариум с рыбками и ждал, когда все хорошенько уснут, чтобы спустить к рыбкам пластмассового водолаза, которого я прятал под подушкой. Без водолаза рыбкам было скучно, они лениво плавали туда-сюда и не знали, чем заняться. В это время ко мне на цыпочках подошла Иринка и заговорщицким голосом сказала, что должна мне открыть очень важную тайну. В прошлый раз, когда она так говорила, мы ходили искать клад в привезенной куче песка возле нашей песочницы. Тогда Иринка подошла к водителю машины, который его привез, и между прочим спросила, откуда он. Как откуда – с моря! А всем известно, что на море все прячут клады. Мы перерыли всю кучу, и если бы не воспитательница, то точно бы нашли. А в другой раз мы ходили смотреть на родившихся у нашей садичной Муськи котят, которым Иринка хотела повязать бантики. Но сейчас у нее были такие глаза, что никакими котятками здесь не пахло, а пахло чем-то действительно важным.

В коридоре она усадила меня на диван, взяла мою руку и приложила к своей груди. Чувствуешь? Я стал внимательно слушать, затем для верности пошевелил рукой, но ничего, кроме

кармашка на платье, не заметил. На ощупь в кармашке тоже ничего не было. Иринка покачала головой и приложила мою голову к своей груди.

– Слышишь, стучит? Это сердце! Понимаешь, сердце! Оно живое и постоянно стучит! И днем и ночью, представляешь!

Я прислушался и вдруг услышал слабый стук. Это было что-то невероятное!

– У тебя тоже оно есть, – сказала Иринка. – И у воспитательницы Марины Николаевны. И у мамы. Она постоянно говорит, что от нас с сестрой у нее сердце болит, и пьет капли по вечерам. Я сама видела. А еще мама говорит, что люди бывают бессердечные. Это когда люди делают кому-нибудь гадости, но вместо того, чтобы извиниться, начинают радоваться. Они смеются и радуются, а потом теряют свое сердце. Поэтому их и зовут бессердечными. Им сразу все друзья перестают нравиться, они становятся злыми и отдают своих родителей в дом престарелых. Мама говорит, что бессердечные люди хуже мертвых. Мертвые лежат и никому особого вреда не делают. А бессердечные ходят по земле и обижают других, бранятся и клязнят. И при этом еще и себя оправдывают: раз сердца нет, откуда им знать, что делают другим больно?

Мы сидели на диване, болтали от счастья ногами и по очереди слушали, как стучат наши сердца. А потом я сказал:

– Знаешь, Иринка, раз сердце стучит – значит, оно живое. А если живое, то как, по-твоему, оно дышит?

Я был умным мальчиком и знал, что все в мире должны дышать. Иначе конец! А как сердцу дышать, когда оно вон – под футболкой или, как у тебя, под платьем? Иринка даже растерялась от неожиданности. И что теперь делать?

Ох уж эти девчонки! Как найти сердце, знают, а потом не знают, что с ним делать! Я знал. Это же проще простого – главное найти ножницы! Я нашел ножницы в коробке с цветной бумагой, а потом вырезал на платье у Иринки аккуратную большую дырку.

– Ну как, дышит?

Она прислушалась:

– Вроде бы да.

А потом вырезал дыру у себя на футболке. После этого сразу стало легко на душе. Мы сидели на диване, по очереди слушали, как стучат наши сердца, и радовались.

– А все-таки хорошо, что ты умная, – сказал я Иринке. – Так бы и ходили дураки дураками, если бы не ты!

Когда за нами пришла моя мама, взволнованная воспитательница Марина Николаевна стала ей объяснять, что был сон-час и вообще-то мы должны были спать, а ножницы она сама прибиравала, и как мы их вытащили, уму непостижимо... Но вместо того чтобы ругать нас, мама стала смеяться, а потом сказала: «Какие они молодцы, что нашли свое сердце! Это же просто замечательно! Какие славные у меня дети!» И по дороге домой купила нам мороженое.

Снегопад



Говорят, когда отрезают руку, отрезанное место потом болит. Когда она ушла, у него тоже нестерпимо болело, и не где-то там – все его существо было объято сжигающим холодным пламенем, от которого хотелось кататься по полу и кричать. Он стоял в храме, где они когда-то повенчались, и вместо тысячного «почему?» и «за что?» словно чужими глазами смотрел, как идет вечерняя служба, и злился. Сил молиться не было, да он и не собирался. Разве может быть от любви так больно, а если может, то с него хватит! Если Ты заранее все знал, зачем Ты так со мной? И, понимая бессмысленность этого вопроса, от жалости к себе ему хотелось заплакать. Но он с детства усвоил, что мужчины не плачут, и теперь просто хотел стать маленьким железным шариком, закатиться куда-нибудь в щель в полу, чтобы никто не видел его мокрых глаз и все о нем позабыли...

К концу службы он взял себя в руки, подошел к Распятию, склонившись, поцеловал место, где гвозди пробивали ноги Христа, и прошептал: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» Когда он вышел из храма, на улице стемнело, был снегопад. Пушистые комья тяжелого снега падали с темного неба, залепляя глаза, мешая дышать и покрывая все вокруг зыбкой белой мглой. Все исчезло и растворилось в этой мгле, и он брел по снегу, как одинокий путник по заснеженному полю, которому нельзя останавливаться и нельзя сбиться с пути, потому что никто не поможет.

Когда-то он любил этот снег, меняющий знакомые улицы, словно по волшебству, когда они гуляли, взявшись за руки в этой снежной сказке, и она была принцессой, а он – добрым охотником, который спас ее от ужасных ледяных тварей. Он целовал снежинки на ее волосах и до сих пор помнил, как они пахли, а она прижималась к нему всем телом и гладила его по лицу своими маленькими тонкими пальцами. В эту минуту, спрятанные под теплым снегом, они были одни в целом мире, и не было в нем ничего, кроме их сердец, громко бившихся в унисон.

А потом наступили будни, и сказка закончилась. Романтики становилось все меньше, а забот все больше, и все, что когда-то будоражило и волновало кровь, вдруг стало обыденным и скучным. Умные люди советовали повенчаться в церкви, потому что тогда две души стано-

вятся одним целым и благодать одна на двоих. Они забыли добавить, что и все остальное тоже будет одно на двоих, и этого остального станет гораздо больше. Женатые друзья говорили, что счастливый брак – это ежедневная кропотливая работа, а он морщился и отвечал, что работы ему в жизни и так хватает. И может быть, все как-нибудь бы и устроилось, но неожиданно для себя он познакомился с девушкой, все быстро закрутилось, а потом жена уехала шить к маме шторы, а утром позвонила и сказала, что больше не вернется.

И сейчас он брел по заснеженной пустынной улице к дому, где его никто не ждал, и тихо ненавидел этот снег, от которого горечь одиночества становилась еще сильнее. Когда наконец он добрался, то увидел во дворе дворничиху, которая, несмотря на снегопад, мела перед домом. Пока она выметала снег в одной стороне, другую быстро засыпало, и она снова переходила к началу и спокойно продолжала свое дело. Это было так бессмысленно, что он не выдержал, подошел и спросил: «Зачем вы это делаете? Зачем зря тратите время? Снова же все заметет!» А она улыбнулась и ответила: «И пускай заметет, я снова уберу! С тех пор как я мужа схоронила, живу одна, – чем дома сидеть, поработаю лучше!» Пустынная улица. Метет снег. И маленькая женщина борется со снегопадом и одиночеством в своей душе.

Это было так естественно и просто, что он ею залюбовался, смотрел во все глаза и не мог оторваться. Что-то хорошее, радостное и доброе коснулось его сердца, а все, что давило, жгло и терзало, вдруг исчезло, растворилось и пропало, словно наваждение. Никогда еще он так не хотел увидеть свою жену, как сейчас. Рассудок пытался что-то возразить, но сердце пело, трепетало и требовало увидеть ее, и, не в силах больше сдерживаться, он со всех ног бросился со двора к стоянке ночного такси.

Бабушки



Какой-то японский загорелый старичок в восемьдесят лет залез на Эверест, чтобы доказать себе и другим загорелым старичкам, что восемьдесят – это еще не конец. Его показывали по всем каналам, и весь мир им гордился. Бабушек, которых я встретил на автобусной остановке, никто нигде не покажет, но против них этот бодрый японский старичок – слабак.

Я встретил их весенним солнечным утром на остановке, в деревне, где живут мои родители. Одна тихонько сидела на загаженной ржавой скамейке в старом зеленом платке, темно-синей стеганой куртке и китайских кроссовках, а вторая, в таком же выцветшем, но красном платке, подошла с ведром яиц, которые она купила здесь неподалеку, в магазинчике птицефермы, где они стоили рублей на десять дешевле, чем в магазине. На ней была мужская коричневая куртка из искусственной кожи и аккуратная розовая кофта с длинной черной юбкой. А из-под нее торчали ноги в огромных, не по размеру сланцах.

– Ты чего здесь? – спросила та, что купила ведро яиц. – Ты же должна у себя на остановке быть?

У себя – это в соседней деревне, в пяти километрах отсюда, если по дороге через лес.

– Да, понимаешь, я в сберкассу ходила, будь она неладна. Деньги с пенсии на книжку ходила положить. Вот и пришла.

– А я за яйцами приезжала. Хорошо, успела. Теперь надолго хватит. А чего деньги дома не хранишь?

– Да, боюсь, прибьют. Прошлый раз залезли, весь дом вверх дном перевернули. Я от них в сарае спряталась. Там и отсиделась, пока они в доме шуровали. Шарика вот жалко. Так его отпинали – все ребра переломали. Кровью харкал – думала, помрет. Но ничего, выжил. Правда, хромать стал. Сейчас боюсь деньги дома держать.

– А у меня по прошлом разе все до копейки утащили. Все семьдесят тыщ, что я на похороны копила. Пока в город ездила, они все подчистую вытащили. Месяц потом до пенсии на хлебе одном сидела. Ну, думаю, рано нам еще помирать. Раз помирать не на что...

Тут она замолкла и внимательно посмотрела на меня. Я стоял рядом, у дороги, спиной к ним, и все слышал.

– Смотри, Ивановна, кавалер-то как внимательно нас слушает. Никак в гости к нам собирается.

Я не выдержал, обернулся. И раздраженно бросил:

– Не бойтесь, бабки, есть у меня деньги! Вот.

И зачем-то полез в карман. Та, что в красном платке, недоверчиво улыбнулась и махнула на меня рукой, как бы извиняясь.

– А если не секрет, сколько вам, бабушки?

Она ставит ведро с яйцами на скамейку, смотрит с паузой, мол, сколько дашь? Потом говорит:

– Мне восемьдесят семь.

А та, что пришла в сберкассу прятать деньги от грабителей, тихонько сказала:

– А мне девяносто один.

И тоже посмотрела мне в глаза. Взгляд у нее невинный, как у ребенка, – открытый и ясный, аж душу выворачивает.

– Одинокие мы. Никого у нас нет. Некому за нас заступиться. Вот и боимся всего.

Я говорю:

– А милиция?

– А что милиция? Они приедут, милиция, протокол составят и уедут. А мы здесь остаемся. Походят, походят и уедут – до следующего раза. Последний раз залезли – у внука пилу, эту, как ее, бензиновую, он в сарайке наверху ее прятал, и ту нашли.

– Вот, внук! – обрадовался было я.

– Ну, он не родной мне.

Смущенно опускает глаза.

– Я дом на него переписала. Когда помру – он новый построит. Пока ездит, помогает. Он не здесь живет.

– А соседи?

– А что соседи? Они у нас знаешь какие? Богатые! Не здороваются. Я когда по прошлом годе картошку копала, пошла в магазин за хлебом. А картошка во дворе осталась сохнуть. Пришла – а у меня от кучи-то почти ничего и не осталось. Всю крупную забрали, а мелочь разбросали. Я бегом к соседям. Те знать ничего не знают. Ничего не слышали. Соседи... Но я хитрая. Я после последнего раза, как залезли, стала всем рассказывать, что милиция, когда последний раз приезжала, кнопку мне поставила. Чтобы меня караулить. Если кто снова полезет, я на кнопку нажму, и готово! Попались, голубчики!



И смеется...

– Все кругом знают, что я одна. В город поехала или в магазин ушла – заходи, бери что хочешь. Никому дела до нас нет. Страшно жить стало. Ой, страшно. А мы ведь раньше знаешь как жили? Двери не запирали. А сейчас? Ночью приедут – фарами по окнам светят: есть кто дома? Я шторы раздерну, они у меня такие, тяжелые крепдешиновые, ничего не видать, сяду на кровати, чтобы меня видно было. Дескать, жива еще. Не лезьте, Христа ради, подождите маленько! И молюсь: «Господи, помилуй!» И Господь милует.

Та, что постарше, которой девяносто один, слушала нас, слушала, а потом сказала:

– Хватит, Кондратьевна, человека пугать страхами своими. Бог да Христос! Ты чего, парень, пригорюнился-то? Жалко, что ли, тебе старух? Ты давай это брось! Знаешь, какая она, – и указывает на ту, что с яйцами, – знатная была, боевая!

Боевая смущенно смеется, прикрыв рот рукой.

– Она орден Красного Знамени в области получила. Знаменитая на весь район была! А я? У меня две книжки стихов вышло! В газете Елена Ивановна знаешь как меня хвалила?

Но я не успел узнать как – подходит автобус. И сфотографировать не успел. Только имена записал. Ту, что постарше и которая стихи пишет, зовут Нина Ивановна. А ту, что с орденом и неродным внуком, на которого она дом переписала, – Анна Андреевна.

Протоиерей Дмитрий Шишкин



Светлана Петровна и святитель Спиридон



Даже не знаю, с чего начать. Может быть, с того момента, когда по телевизору однажды увидел передачу о святителе Спиридоне Тримифунтском, – и сердце разгорелось любовью к нему, и возникло такое удивительное чувство духовной близости, когда реально понимаешь: святой действительно рядом, и кажется, что чего ни попросишь у него сейчас – все исполнится. Я пошел на кухню, подальше от всех, и стоял перед Казанской иконой Божией Матери и вслушивался в себя и думал, о чем просить. Вспомнил, что у святителя Спиридона просят об обретении собственного жилья... но как-то совестно было об этом просить. Хотелось другого, большего. И я просил о спасении, о жизни доброй по Богу... И еще, помню, дерзнул попросить: отче Спиридоне, если меня переведут служить куда-нибудь в другое место из города, пожалуйста, если это возможно и полезно для меня, – пусть это будет Бахчисарайский район, поближе к пещерным монастырям, к любимому моему княжеству Феодорб. Ну, так как-то...

И вот тут надо сказать, что собственного жилья у нас не было. То есть в Симферополе я родился и вырос, здесь живут мои родители в двухкомнатной хрущевке; и мы с Леной, а потом и с дочкой старшей, какое-то время жили с ними тоже, но в конце концов решили, что надо жить отдельно. Словом, своего жилья у нас не было и не предвиделось в силу недостатка личных средств и каких бы то ни было перспектив помощи со стороны. Так что на момент повествования мы уже лет пятнадцать снимали жилье, и та квартира, в которой мы жили последние пять лет, была для нас третьей по счету. Впрочем, я, если честно, к этому почти привык, а вот жена сильно переживала и сетовала по поводу нашего «бомжевания».

Прошло несколько дней после «беседы» со святителем, и вот среди бела дня звонит мне ни с того ни с сего правящий архиерей. Можете себе представить?! Это примерно как если бы губернатор края позвонил заведующему сельским клубом, прости, Господи, за сравнение. Так вот, звонит владыка и начинает вдруг меня расспрашивать о моем житие-бытие и между прочим высказывает осведомленность и озабоченность по поводу отсутствия у меня собственного жилья, а под конец спрашивает, не хочу ли я, чтобы он перевел меня служить в село. На это я сказал только: как воля Божия будет, владыка. Владыка пообещал разузнать, есть ли в том

поселке, куда он меня собрался определить, жилье, и затем уже принять решение. Вот такой в высшей степени неожиданный и обескураживающий состоялся разговор.

А я, признаться, и сам не знал, что для меня лучше. Я служил тогда пятым священником в симферопольском храме Трех святителей, получал месячный оклад 1300 гривен, при том что 1400 мне нужно было отдавать ежемесячно только за одну квартиру. Питание, одежда, учение детей и дорога – «не в счет». И так продолжалось два с небольшим года. Но поверьте, не кривлю душой, ни разу за это время не было случая, чтобы мы испытывали какую-нибудь действительную нужду. Это правда; и иначе, как чудом Божиим, я это объяснить не могу. Деньги, продукты, вещи появлялись в самый неожиданный момент из самых неожиданных источников, так что мне остается только привести слова одного батюшки, точность которых когда-то крепко меня впечатлила. «Запомни, отче, – сказал этот отец с расстановкой, уж не знаю, по наитию ли свыше или услышанное ранее, – Бог дает кому надо, сколько надо и когда надо!» Поверьте: точнее и действеннее утверждения по поводу существования священника я не слышал.

Итак, я служил пятым священником в городском храме, получал довольно скромный оклад, но умудрялся как-то снимать жилье и ни в чем по-настоящему не нуждался. И я привык к такой жизни. Но вот в конце января... Как сейчас помню: я в тот день освятил квартиру людям, они привезли меня к дому, и вот я иду по заснеженной дорожке, и вдруг в кармане звонит телефон, я беру трубку и слышу будничным голосом: «Отец Димитрий, приезжайте в канцелярию за указом».

Так начался новый этап в моей жизни.

Я стал настоятелем прихода... в Бахчисарайском районе, как и просил у святителя Спиридона. Но своего жилья у меня так и не было. То есть в Почтовом был дом для священника, но в силу некоторых существенных обстоятельств я вселиться в него не мог. И я продолжал добираться через весь город со своей съемной квартиры сначала до автостанции, а потом на рейсовом автобусе – до храма. Потом обратно.

Но через полгода моего служения в Почтовом после очередной воскресной службы произошло важное, как впоследствии оказалось, событие. Люди подходили к кресту, прикладывались, и между прочими подошла какая-то старушка, которую я раньше не видел, несколько эксцентричного вида, протянула мне нечто завернутое в бумагу, как бы пакет небольшой, размером с почтовый конверт, и прошла дальше.

Потом уже, после службы, я этот пакет развернул и обнаружил старый, еще дореволюционного времени, помянник в велюровом коленкоре, изрядно потертый и побитый шашелем. Первые имена в нем были записаны еще с «ятями», порыжевшими от времени чернилами, а последние имена были написаны шариковой ручкой, но, кажется, тоже давненько уже, лет тридцать назад. Я держал этот синодик в руках с особенным чувством... Это всегда так бывает, когда прикасаешься к старым вещам – точно слушаешь звучание ушедшего времени. Но с синодиком это чувство живого прошлого усиливалось еще мыслью о том, что люди, вписанные в его страницы, живы и нуждаются в нашем участии, в нашей молитве. Все живы, только одни, может быть, еще здесь – во плоти, а другие уже разрешились от уз плоти и живут в вечности. Удивительное это чувство единства духовного, участия в жизни друг друга. Я вчитывался в имена и чувствовал, что как бы знакомлюсь с этими людьми, молитвенно начинаю участвовать в их жизни. Так и они из непостижимой высоты и глубины иного – запредельного – опыта взирают на мою жизнь и, может быть, начинают участвовать в ней своим молитвенным ходатайством. Я переписал из этого очень уж ветхого синодика имена в свой – обычный – и поминал всякий раз на литургии, во время молебнов и панихид.

Прошло еще какое-то время. Наступил праздник Преображения Господня. День был волнительный, как это всегда бывает в дни великих двенадцатых праздников. Народу было много, полный храм, мы служили литургию, исповедовать пришлось довольно долго, потом был молебен, освящение винограда и яблок, проповедь... После службы я, отдыхая, сидел

в пономарке, когда зашел староста и сказал, что какая-то пожилая женщина хочет со мной поговорить. Я попросил, чтобы он ее позвал.

Вошла старушка, худощавая, слегка сутулая, с цепким взглядом и пышными бучками «накрученных» седых волос. Я ее сразу узнал: это была та самая бабушка, которая пару недель назад передала мне помянник. Но первое, что бросилось в глаза: бабушка была накрашена. Знаете, такой удивительный тип пожилых людей, которые привыкли еще с советских времен думать, что если у старушки губы ярко накрашены морковным цветом, а глаза обведены густой синевой и щеки наруганы, то это красиво. Они в самом деле так верят, но сейчас важно другое. Я сразу смекнул, что бабушка – человек невоцерковленный. Без неприязни подумал, просто отметил для себя как факт, поднялся ей навстречу, пригласил присесть и продолжить беседу.

Бабушка была, что называется, «молодцеватая», бойкая и многословная. Она сразу начала говорить, и, опять же, первое, что бросилось в глаза, а точнее в уши, – это то, как она резко судила о других людях. Резко и обыденно, привычно, по-видимому, ничуть не замечая этого и даже, скорее всего, не считая зазорным. Выяснилось с первых минут, что у бабушки куча всяких знакомых в самых разных структурах и органах власти, начиная с местной Верховной Рады, в больницах, исполкоме, на почте, в главке, заканчивая какими-то дворничихами и председателями домкомов... и много кого еще она называла как бы мимоходом, так что, очевидно, должно было сложиться ощущение, что разговариваешь с человеком «со связями».

Но у меня лично этот словесный поток вызвал настороженность. Как-то я опасуюсь, что ли, таких людей – со связями и с крайней резкостью суждений, – может быть, потому, что это, во-первых, поперек всех представлений о церковной жизни, а во-вторых, понимаешь, что и ты при ближайшем общении непременно попадешь в список этих «важных» знакомств, но и ярлык приобретешь, скорее всего, нелюбезный.

Словом, я слушал задорную речь старушки со вниманием, но и с некоторой отстраненностью. Впрочем, говорила она не только о связях и пороках других людей, но и – довольно интересно – о своей жизни, каких-то любопытных подробностях жизни нашей долины в прежние времена. Про себя я отметил необычную для ее возраста хорошую память, а также определенную претензию на образованность. Впрочем, о главном предмете нашей беседы я узнал далеко не сразу, когда уже начал слегка уставать от многого и бойкого говорения бабушки. А выяснилось вот что.

Светлана Петровна – так ее звали – человек одинокий. Ни мужа, ни детей, ни близких родственников у нее нет. Мать, с которой она жила в двухкомнатной квартире в городе, умерла еще в 1987 году. И вот теперь Светлана Петровна хочет, чтобы ее «досмотрел» священник. Слово «досмотрел» звучало довольно комично, учитывая живость и бойкий характер старушки. Так что я, признаться, эти слова для себя не принял всерьез, отстранился от них, почти будучи уверенным с самого начала, что как-нибудь аккуратно и вежливо откажусь от этой, по-видимому, незавидной перспективы. Совесть меня не обличала здесь совершенно, потому что я видел перед собой не страждущего, немощного человека, нуждающегося в помощи, а довольно экспансивную старушку, которая, очевидно, еще фору могла дать многим своим ровесникам в плане энергии и живости характера и, как казалось тогда, здоровья.

Но я не стал тогда прямо отказывать, а попытался как можно более мягко втиснуться в поток сознания старушки и предложил ее подвезти до дома. Это было удобно, потому что прихожанин наш, Василий, меня обыкновенно после воскресной службы со всеми «панихидными» продуктами довозил до дома. Бабушка согласилась, и мы поехали.

Вот так я узнал, где она живет. Впрочем, что значит узнал? Просто мы остановились возле подъезда такой-то пятиэтажки на окраине Симферополя и вежливо попрощались. При чем Светлана Петровна еще раз намекнула, что будет ждать моего окончательного решения, улыбнулась на прощание, и мы расстались, как я почти был уверен тогда – навсегда. Впро-

чем, перед тем, продиктовав мне номер своего домашнего телефона и, очевидно, желая меня приободрить, старушка сказала, что не ждет от меня ничего «сверхъестественного», а только навещать ее пару раз в месяц, может быть, кое-какие продукты купить, проведать... и все. Звучало это убедительно, особенно ввиду того общего ощущения бодрости и энергичности, что Светлана Петровна после себя оставила. Но настораживала меня, признаться, именно ее невоцерковленность и те качества, о которых я уже сказал. Так что особого желания продолжать общение не было.

Словом, я приехал домой, рассказал домашним об этом эпизоде скорее как о забавном курьезе и – отложил его в дальний ящик своей памяти. Не более того.

Прошла пара недель. И вот после службы староста подает мне какую-то бумажку, где написано, что на адрес храма пришла телеграмма с просьбой перезвонить. Почему-то Васильевич решил, что телеграмма послана из Бахчисарая. Я тут же решил, что это беспокоят из Земельного комитета (мы тогда как раз решали вопрос с участком под строительство храма). И вот я весь в этих заботах и думах приезжаю домой, набираю указанный телефон. Настраиваюсь на разговор с чиновником из Земельного отдела и вдруг слышу немощный голос Светланы Петровны... В первый момент со мной случился, что называется, когнитивный диссонанс, то есть мозги никак не могли свести воедино Бахчисарайский земельный комитет и голос Светланы Петровны. Но уже в следующую секунду до меня дошло, что это именно бабушка прислала телеграмму в Почтовое и попросила позвонить. Словом, началась эпопея «досматривания», больше похожая на куртуазное «ухаживание» из рыцарских романов.

Здесь надо сделать некоторое пояснение. Светлана Петровна прожила жизнь непростую и главным ущербом считала отсутствие полноценной семейной жизни. Как-то не заладилось у нее тут. Был муж, с которым она прожила недолго и который ее бросил, детей завести не успели. Словом, остался комплекс определенный. И при этом комплексе, как я уже сказал, Светлана Петровна была человеком невоцерковленным, так что понятия о... как бы это сказать... о субординации, что ли, о правилах общения мирян со священниками ей были попросту незнакомы, и она, с одной стороны, как бы и гордилась тем, что священник за ней присматривает, а с другой – хотела, чтобы другие видели, что за ней ухаживает вроде как молодой (относительно) мужчина. Абсурд полнейший, но я это настроение быстро понял и должен был как-то проявлять снисхождение. Что поделаешь! Жизнь человека, реальная жизнь, всегда сложнее любых схем и правил. И вот начался этот удивительный «роман», когда я, со своей стороны, честно старался «досмотреть», а желательно и наставить на путь истинный старушку, а она, со своей стороны, воспринимала это как некую «лебединую песню» своей несостоявшейся молодости. Конечно, это были вполне безобидные странности. Например, она любила, чтобы я приехал на такси, вывез ее куда-нибудь на рынок или в город, в торговый центр, и там она ходила бы со мной под руку и выбирала продукты, книги, вещи... Что придется. Я такие выезды называл про себя «рандеву» и в общем-то понимал, что за ними скрывается элементарное желание человеческого внимания и участия.

Но вот что хочу сказать сразу: я совсем не настроен ни над чем подтрунивать и шутить. На самом деле здесь все глубже и даже, может быть, трагичнее. Светлана Петровна родилась в знаменательном 1938-м. Родилась в семье военного в поселке Коджук-Эли, который находится недалеко от Почтового, где я теперь служу. Вскоре семья переехала в Симферополь, и здесь случилось событие, которое, как я думаю, значительно повлияло на судьбу и характер Светланы Петровны. Отца перевели служить чуть ли не на Дальний Восток, а семью... уж не знаю, насколько это правда, но не удивлюсь, если правда: семью брать с собой «до особого распоряжения» запретили. Вот так они и жили: отец неизвестно где, за тысячи километров, а маленькая Света с мамой здесь, в Крыму. Так продолжалось, насколько я понял, около двух лет, пока наконец не выяснилось (чего и следовало ожидать), что у папы «там» завелась жен-

щина, а затем и сложилась новая семья. Эта разлука с отцом, как мне кажется, оставила в душе Светланы Петровны неизгладимый болезненный след.

Воспитывала ее мама – как я понимаю, человек строгий до деспотичности (что, к слову, достаточно часто встречалось в прежние времена, особенно в сельской местности). Она, например, могла избить дочь, когда той уже было за тридцать лет, за то, что та вернулась домой после одиннадцати! Эта строгость и жесткость в понятиях нравственности, впрочем, как я понял, распространялись исключительно на дочку, в то время как сама мама позволяла себе некоторый флирт и даже, кажется, большее в отношениях с мужчинами. Не слишком, что называется, часто, но все же бывало. И притом такая деспотическая ревность о чистоте нравов дочери... Это, я думаю, тоже наложило свой отпечаток на душевный склад Светланы Петровны. Да не думаю даже, а так оно и есть. Об этом она мне сама говорила. И вот под влиянием этих обстоятельств – ранней разлуки с отцом, жестокости матери в отношении «безупречной морали», да еще и неудач на личном фронте – и сложился характер столь необычный и даже странноватый, как у Светланы Петровны.

Когда мы с ней познакомились, Советского Союза уж больше двадцати лет как не было, но Светлана Петровна точно не замечала этого и все не могла остановиться – таков был запал той, прежней жизни, того «боевого» духа. Она все жила по старым понятиям, ей все казалось, что она в вихре жизни, на острие атаки, что все связи на месте, хотя на самом деле все давно развалилось и расползлось, как истлевший кумач, и большинство «значительных» фигур давно сошли со сцены, а то и в могилу. Но она, как заведенный волчок, который не может остановиться вдруг, по инерции все говорила, рассказывала об этих своих связях, деятельности... Например, любимым ее воспоминанием было то, как ей каждый год доверяли оформление правительственной трибуны на площади Ленина к государственным праздникам. Я помню из детства и юности эти парады и понимаю, что это действительно было хлопотное и ответственное дело. Всего этого давно не было, но Светлана Петровна вспоминала все это с такой живостью, словно это было вот только вчера. Впрочем, и в современности она если не поддерживала какие-то влиятельные связи, то уж, во всяком случае, действительно имела множество знакомств в самых разных областях и учреждениях, на разных уровнях, но знакомств «шапочных», не более того. Меня, признаться, убивала ее манера общаться на всех этих уровнях. У нее, понимаете, был такой свой особенный стиль, который она сохранила, несомненно, с тех самых советских времен и который она считала единственно правильным. Она, например, покупала на рынке яблоки или гроздь винограда (причем в сортах она действительно разбиралась) и приходила в нужный кабинет (не важно, к кому), во-первых, без очереди, уверенно, как старый, больной человек, а во-вторых, почитала священным долгом и знаком учтивости после беседы преподнести этот виноград или яблоки с непременно замечанием: возьмите, это настоящее, из деревни! Но ладно еще фрукты. Она непременно считала необходимым при общении с любым чиновником в какой-нибудь документ вложить пятерку. Мне было и забавно, и стыдно, но я никак не мог отговорить ее от этой странной и нелепой привычки, не зная, как объяснить ей, что эта пятерка ничего, кроме неловкости, у человека вызвать не может.

Но и это еще не все. Кроме фруктов и классической пятерки, Светлана Петровна любила дарить... книги. Но что это были за книги! Пару раз, мучаясь от неловкости и заранее предвидя реакцию, я «за послушание» должен был передавать каким-то давним ее знакомым – сотрудникам учреждений – эти книги. Вот только пара названий, которые я запомнил: «Месть еврея» и «Власть тьмы». Причем Светлана Петровна заманила меня однажды на какой-то книжный развал, где ее, конечно, знали, и она там специально эти книги выбирала, придирчиво и дотошно, чтобы я их потом преподнес в подарок какой-нибудь барышне. Причем барышня при одном виде этой книги и упоминании имени Светланы Петровны делала сумасшедшие глаза и, словно защищаясь, беспомощно выставяла руки вперед со словами: «Да вы что!.. Упаси Боже!» – или что-нибудь еще в этом роде. В общем, намучился я в качестве курьера

с этими передачами, честное слово. Но притом мне всегда было Светлану Петровну жаль, и я не то чтобы не мог, а не хотел ей в этих маленьких слабостях и чудачествах отказывать, тем более когда стал догадываться, что она действительно тяжело и неизлечимо больна.

Я не буду рассказывать сейчас о симптомах. Только скажу, что ей нужно было пройти обследование, но слабое сердце не позволяло это сделать, да она и отказывалась решительно от обследования, не доверяя ни врачам, ни больницам. Вообще у нее была острая интуиция и она, очевидно, понимала, чувствовала, что скоро умрет, говорила об этом прямо и ясно, утверждая, что не боится смерти, но просила только у Бога, «чтобы не мучиться».

И вот здесь, я думаю, самое время сказать о самом главном, как мне кажется, качестве Светланы Петровны – о ее вере. Она верила в Бога с детства благодаря бабушке Наталье, которую любила безмерно и о которой рассказывала с обожанием. Бабушка ее была женщина, как я понимаю, для своего времени достаточно образованная, окончила несколько классов гимназии, преподавала в сельской школе, называла учеников на «вы», принимала чуть ли не у всей округи роды – словом, была в глазах Светланы Петровны образчиком сельской «разночинной» интеллигенции. Думаю, что так оно на самом деле и было. И вот что удивительно: бабушка была православной, сознательно и твердо верующим человеком. И она эту веру вложила в маленькую Свету еще в детстве так прочно, что эта вера сохранялась в душе всю жизнь, несмотря на все перипетии далеко не церковной жизни. И эта вера горячая, искренняя, эта связь с бабушкой, это желание «пойти к ней», желание действительно духовное, меня в полном смысле подкупали в Светлане Петровне.

Вся эта история с появлением бабушки в нашей жизни была как бы одним сплошным чудом. Начиная с того, что мы ее не искали, а она сама приехала в храм и вступила в общение со священником.

Второе чудо состоит вот в чем. В том, что она прожила всего четыре месяца со дня нашей встречи. И если бы многочисленные знакомые Светланы Петровны узнали тогда, сколько ей осталось жить... ох, сколько бы, думаю, нашлось желающих ее «досмотреть». Но никто в скорую кончину Светланы Петровны не верил и никто не хотел «заморачиваться», как думали, на долгие годы с бабушкой, полной сил и энергии. Больше того, скажу честно, были моменты, когда я с радостью уступил бы свое место «наследника» кому-нибудь другому, если бы такой объявился. Говорю об этом не кривя душой. Но вот в этом-то и дело, что не объявился никто, даже не попытался претендовать в самые трудные моменты. И это особенно забавно было вспоминать, когда уже после смерти бабушки замаячили какие-то люди, которые, скажем так помягче, изъявляли недовольство тем, что двухкомнатная квартира досталась «какому-то попу». Честное слово, мне тогда хотелось только одного – посмотрев этим людям в глаза, по добром, из чистого любопытства спросить: а где же вы были раньше?

Уже через пару недель после нашего с ней знакомства Светлана Петровна сама заговорила о наследстве. Скажу честно: если бы не ее инициатива, я бы, наверное, так и не поднял бы этот деликатный вопрос до последнего, и вполне возможно, что никакой квартиры у нас так и не было бы. Но Светлана Петровна прямо и без обиняков заговорила о завещании, и мы поехали к нотариусу и оформили все в каких-нибудь полчаса. И за эту решимость – настойчивость даже – я Светлане Петровне, конечно, благодарен.

Следующим чудом для меня было то, что Светлана Петровна (человек, как мы с вами уже знаем, «малоцерковный») сама настоятельно просила меня об исповеди и причастии. Эта ее вера, ее стремление к Богу, которые она пронесла через всю жизнь, несмотря на ее «общественную» работу и тесное сотрудничество с безбожной властью, – вот это для меня пример того, как важно доброе начало жизни, как важен добрый пример в детстве, который мог бы оставить след на всю жизнь. А для Светланы Петровны таким примером и безусловным нравственным авторитетом была, как я уже говорил, ее бабушка. Я вам больше скажу: может быть, эта бабушка – Наталия – и есть главный герой нашей маленькой повести. Я не просто уверен,

я это чувствовал с самого начала, что именно ее молитвами Светлана Петровна сохранила свою веру, именно ее молитвами она вопреки всему захотела завершить свою жизнь по-божески, именно ее молитвами она отыскала священника. И это был действительно сознательный выбор. Низкий поклон и Царствие Небесное и самой Светлане Петровне, и ее бабушке Наталии.

Умирала Светлана Петровна, можно сказать, легко, если учесть, что у нее был, скорее всего, рак. Она сама догадывалась и говорила мне об этом, но проходить обследование категорически отказалась. Да и ее любимый врач, кардиолог, к которому мы специально ездили по ее просьбе, выпроводив ее после осмотра из кабинета, доверительно высказал мне свои предположения, что причины ее слабости и быстрого похудения, скорее всего, не в сфере сердечной деятельности... Он думал, что это, вероятно, рак желудка, но сам же признался уже как специалист, что сердце ее «глотания кишки» для обследования не выдержит. И действительно, главная проблема была в том, что Светлана Петровна очень быстро и без явных на то причин стала терять силы. У нее пропал аппетит, и она буквально заставляла себя есть. Кроме того, у нее болели ноги, ее мучила бессонница, но по сравнению с тем, как страдают порой раковые больные, согласитесь, что все это просто милость Божия. И Светлана Петровна, кажется, понимала это и только иногда впадала в малодушие, когда ей хотелось, чтобы все «поскорее закончилось» и не мучиться. Тут уж я уговаривал ее как мог, убеждал, что нужно переносить страдания с верой и терпением. И она в конце концов соглашалась.

До последних дней она самостоятельно передвигалась по дому и обслуживала себя в самом необходимом. В день памяти святителя Спиридона Тримифунтского она упала в своей квартире. Нашла ее через несколько часов сиделка, которую я попросил присмотреть за ней, пока я ездил в Одессу на отпевание духовника – старца отца Ионы, – умершего 18 декабря. Я вернулся, прямо с автобуса поехал на воскресную службу, а вечером позвонил сиделке. Она сказала, что все нормально, что Светлана Петровна хоть и слабенькая, но передвигается по квартире сама и что она (сиделка) посещала ее вчера.

А утром в понедельник она позвонила и сказала, что нашла Светлану Петровну лежащей у себя на полу. Я приехал, и мы вызвали «скорую». Светлана Петровна была уже, что называется, в состоянии «минимального сознания». Она слышала и, очевидно, понимала, хоть и слабо, то, что ей говорят, но сама говорила с трудом только самые простые слова. Мы повезли ее в больницу, но принимать ее под разными предложениями отказались и «выписали домой».

И для Светланы Петровны начались последние дни ее жизни. Первые пару дней она еще реагировала на голос, могла односложно отвечать на вопросы, и я, к счастью, сумел ее исповедовать и причастить. Потом она все больше стала впадать в забытие и вот наконец 29 декабря 2012 года тихо скончалась.

В комнате, где она лежала, горела перед иконами свеча, а я читал вслух правило, готовясь к воскресной службе. Светлана Петровна дышала напряженно, и вот по временам ее дыхание стало останавливаться на несколько секунд. Постепенно паузы эти длились все дольше... Иногда она вдруг приходила в волнение, открывала глаза, как будто пыталась говорить с кем-то невидимым, но потом снова впадала в забытие.

Умерла она, когда я дочитывал молитву святого Амвросия Медиоланского. Последний раз вдохнула на словах «Отъими от нас, Господи, беззакония наша, и огнем Святаго Твоего Духа в нас милостивне испепели...» И потом еще, чуть позже, – выдохнула в последний раз на молитве «О душах верных преставльшихся». Я сам закрыл ей глаза.

Отпевал я ее ясным солнечным днем. Был легкий морозец. Тишина и лазурь бездонных небес. На отпевании, кроме меня, присутствовало несколько человек, и у всех, по собственному их замечанию, на душе было светло и мирно.

После бабушки остались старинная икона и молитвослов, еще с «ятями», по которому Светлана Петровна иногда молилась, и хотя она, как я уже сказал, до последнего времени была человеком «малоцерковным», но всю жизнь твердо считала себя верующей и православной.

Слава Богу, за время нашего общения я успел ее трижды исповедовать и причастить, а также особоровать перед смертью. Не просто, конечно, было ее – истового «борца за правду» – убедить, что осуждение – это грех, и я не уверен, что мне это вполне удалось. Господь знает... но я надеюсь, что Он простил ей грехи и даровал Небесное Царствие, упокоение в одной из тех обителей, которых у Господа много. И еще я верю, что она воссоединилась на небесах со своей любимой бабушкой – она этого так хотела!

А мы по истечении положенного срока, когда все формальности были улажены, вступили в права наследования. И вот теперь наша квартира находится в той части Симферополя, которая ближе всего расположена к приходу, так что добираться до него стало совсем несложно. И хотя со времен тех событий прошло три года, но до сих пор еще, возвращаясь домой, я не могу вместить, осознать эту великую радость: у нас есть свой дом! Со слезами умиления я поминаю Светлану Петровну и всю ее семью, благодарю от всего сердца Господа, святителя Спиридона и всех святых за оказанную нашей семье милость.

«Немудрая» Инна



Лет двенадцать назад, когда Крым еще был в составе Украины, а я служил в Симферопольском Свято-Троицком монастыре, появилась у нас в храме молодая женщина. Самая распростецкая и обыкновенная. Работала она на рынке, от церковной жизни была далека, но вот – пришла в храм, спасаясь от беспомощности и тоски. Ее мучили, тревожили странные состояния, пугающие изменения в душевной жизни. И действительно, общаясь с ней, я замечал, что дело тут явно неладно. Я поначалу думал, что это какая-то разновидность прелести... там явно присутствовали какие-то бредовые мысли, навязчивые состояния. Но не все в психической жизни человека можно списать на прелесть, то есть состояние духовного самообмана: существуют и душевные заболевания, природа которых сложна и до конца не выяснена даже специалистами.

Инна – так звали эту женщину – стала время от времени приходить на исповедь и причащаться. Видно было, как она потянулась к храму, к церковной жизни с безыскусной простотой и доверчивостью, в то время как ее психическое заболевание, увы, развивалось и усугублялось. Раз за разом бред ее становился все более очевидным и несовместимым с повседневной, нормальной жизнью. Но за бредом этим проступала сознательная духовная жизнь, стремление к Богу. Инну было жалко ужасно, но помочь я ей ничем не мог, кроме как посоветовать обратиться к хорошему психиатру. И это можно было организовать, но сама Инна этого не хотела категорически, а я не хотел быть слишком навязчивым в этом деликатном и сложном вопросе. То есть я делал что мог как священник, чтобы успокоить ее, как-то поддержать, радовался о том, что она полюбила церковную жизнь, но вот помочь в преодолении недуга, конечно, не мог.

Потом меня перевели служить в другой храм, в том же городе. И вот какое-то время спустя Инна стала появляться в этом храме. Но в каком же она была состоянии! Внешне она выглядела уже совсем опустившимся, невменяемым человеком, с явными признаками тяжелого психического расстройства. Потерявшая безнадежно и жильё, и работу, замызганная, грязная, она не всегда имела и кусок хлеба, если только кто-нибудь не вспоминал о ней с состраданием.

Она не буйствовала, приходила в храм, становилась скромно у двери и проводила здесь многие часы, стоя неподвижно, в оцепенении и точно глубоко о чем-то задумавшись.

Из общения с ней становилось понятно, что ее состояние очень и очень тяжело, если не безнадежно. Многие пытались ее как-то поддержать, но во всеобщем отношении к ней все еще царилла какая-то растерянность, никто не понимал, что делать дальше, чем ей помочь. Так бывает: пока не произойдет в жизни человека какой-то окончательный перелом, мы надеемся, что все еще образуется и как-нибудь устроится само собой, помогаем по силам, но никаких решительных мер не предпринимаем. И так у нас бывает во многих вопросах и почти повсеместно. Со стороны, конечно, все просто и ясно: отвези в психбольницу, определи и заботься, ухаживай. Но давайте честно признаемся: сколько среди нас таких – готовых бросить все или, по крайней мере, многое из того, чем наполнена повседневная жизнь, и отдать себя беспомощному человеку, да еще осознавая, что это не на день или два, а может быть, на всю оставшуюся жизнь? Словом, каждый помогал Инне в меру своей немоги духовной и телесной, но «радикальных» действий никто не предпринимал.

Наконец ее определили в психиатрическую лечебницу, и пожилая прихожанка нашего храма Алла с материнской заботой взяла над Инной опеку. Причем не в юридическом смысле, а именно в бескорыстно-христианском. Она не имела абсолютно никакой выгоды от этих добровольно взятых на себя обязанностей. Напротив, жертвовала и своим временем, и силами, и более чем скромными средствами. Алла просто пошла дальше других по пути самоотверженной и деятельной любви. Она собирала продукты и вещи, тряслась в старом разбитом автобусе за город, в поселок Строгановка, где у нас расположен комплекс зданий психиатрической больницы. Там она Инну подкармливала, общалась с ней, одевала в то, что смогла для нее собрать, – словом, проявляла простую человеческую христианскую заботу.

Несколько раз она приглашала меня исповедовать, осособовать и причастить свою подопечную. Я приезжал. Мы общались с Инной, и всегда меня поражала ее кротость. Не клиническая подавленность и забитость, а именно христианская кротость. Она – тяжело психически больной человек – во время общения со священником преображалась. Не то чтобы становилась совершенно адекватной, нет, но вменяемой, то есть ответственной за свое поведение и слова, – это точно.

На вопросы она отвечала после паузы, которая, чувствовалось, была наполнена напряженной работой души, осмыслением, и ответы ее всегда поражали меня своей глубиной, выстраданностью, если угодно.

Она признавалась, что ее бьют и обижают другие больные, но зла не держала ни на кого и прощала своих обидчиков. Было понятно и то, что у нее отнимают еду, но и с этим она готова была смириться. Все эти ее рассказы, сам вид – немывтая голова с колтуном нечесаных, свалывшихся волос, руки в коросте «цыпок», изможденная худоба и неопрятность – все свидетельствовало о том, что и сама больница находится на грани выживания. Но Инна никогда не роптала и не жаловалась, несмотря на свое действительно ужасающее положение. А времена тогда на Украине в самом деле наступили тяжелые. После относительного подъема начала 2000-х опять произошел откат к всеобщей растерянности, нищете и депрессии. Но все мы жили, как жили и в 1990-е, – с терпеливой надеждой на лучшее, как-то приспособливались, привыкали, и только вот в таких «бюджетных» учреждениях, как психбольница, в общении с ее пациентами особенно отчетливо бросалась в глаза эта всеобщая неустроенность и нищета.

Особенно трогательно было видеть, как Инна относилась к Алле, называя ее «моя мамочка» и словно представляя каждый раз санитаркам, которые, впрочем, и так хорошо ее знали. Когда Алла после свидания должна была уходить домой, Инна вцеплялась в ее рукав, не желая отпускать, с безмолвной мольбой в глазах... Конечно, заканчивалось все взаимными слезами, объятиями и обещанием приехать снова как можно скорее.

В последний совместный визит в больницу нас с Аллой пригласила к себе начальник отделения и рассказала, пряча глаза, что Инна, увы, больна неизлечимо и ее надо определять куда-то дальше – в интернат, например, где на постоянной основе содержатся неизлечимые больные. Врач уверяла, что в интернате Инне будет лучше, что и содержание там побогаче, а больница едва выживает, да и по правилам держать здесь Инну больше не имеют права. Очевидно, все это было правдой.

Понятно было, что что-то в судьбе Инны надо менять, куда-то ее устраивать, но куда – неясно. Никаких соответствующих «знакомств» у меня не было. Единственное, что я сделал, – это узнал у сведущего человека, расспросил о нашем крымском интернате для душевнобольных. Мне сказали, что лучше об этом и не думать: состояние жизни его пациентов – даже по сравнению с больницей – удручающее из-за отсутствия хотя бы минимального финансирования.

В это время меня перевели служить на приход в село, и я почти утратил связь с городскими прихожанами. Правда, я еще виделся иногда с Аллой и узнавал с ее слов, что ничего в жизни Инны существенно не поменялось, что она все так же находится в больнице...

Между тем начались известные события на Украине, вызванные главным образом стремлением «прогрессивной» части народа оторваться окончательно от России и интегрироваться в западную систему ценностей. Здесь несколько слов надо сказать и о роли Униатской Церкви в этом процессе.

Униатская, или Греко-католическая, Церковь Украины изначально, со своего основания в конце XVI века, была, что называется, ватиканским проектом, нацеленным на окатоличивание «схизматиков», то есть православных людей, проживающих на территории нынешней Украины. После развала СССР агрессивные настроенные униаты практически разгромили православные приходы в западных областях Украины, переподчинили их Греко-католической Церкви. И все это совершалось зачастую с бессмысленной ненавистью и насильственными методами.

С первых же дней беспорядков в Киеве Униатская Церковь неофициально, но явственно и широко поддержала протестные настроения и пошла с восставшими до конца, благословляя боевиков Майдана даже на кровопролитие и убийства ради «святого дела» освобождения Украины от «схизматиков». Между прочим, в самый разгар майданских беспорядков, что называется, тихой сапой, с благословения Папы Римского в Крыму был учрежден экзархат Украинской Греко-католической Церкви. Так что не стоит говорить, что все известные события на Украине носили лишь политический характер. Можно сказать, что духовная составляющая была здесь определяющей.

Так вышло, что в самое горячее время украинской смуты я по случаю оказался в храме, где служил два года назад. Здесь я встретил старых знакомых. Мы разговорились с ними, и вот что я узнал об Инне. Оказалось, что ее в самом начале известных событий на Майдане определили в относительно хороший интернат в Львовской области. Инну спешно собрали и отправили в соответствующем сопровождении, а когда узнали, что больную благополучно доставили и устроили на новом месте, позвонили главврачу и попросили, чтобы Инне, как православной верующей, пригласили священника, чтобы он ее исповедовал и причастил. «Да, да, – согласилась врач, – у нас как раз есть свой батюшка, и мы обязательно все устроим...»

Но через какое-то время врач позвонила и расстроено сообщила, что священник приехал, как и положено, но Инна исповедоваться и причащаться категорически отказалась. Никакие уговоры и увещания не помогли, так что священник в конце концов должен был уйти, как говорится, ни с чем. Все это было странно и обескураживающе. Знакомые крымчане недоумевали: что же такое произошло с Инной, в чем дело?

И тут кому-то пришло в голову: «В Львовской области...» Там же большей частью униатские храмы – так, может, и батюшка этот был униатом? Дозвонились до больницы, и оказалось,

что именно так все и есть: священник, приходивший к Инне, действительно был униатским. Тогда попросили врача отыскать православного батюшку. Хоть с трудом, но нашли такого. Он приехал и благополучно исповедовал и причастил рабу Божию Инну...

Я вспоминаю о ней с какой-то особенной нежностью, может быть, еще и потому, что видел ее в самом начале ее болезни. Видел, как она теряла рассудок, как страдала, мучилась от беспомощности своей, от холода и голода, от насмешек и злобы людей... Видел ее кротость и какой-то особенный огонек, всегда теплившийся в ее уставшей от болезни душе. И вот именно этот огонек, я думаю, – дар Пресвятого Духа, хранимый в чистоте исповедания веры, – и есть то главное, что делает человека действительно Божиим, даже если он непригляден, немьт и непричесан и жизнь его не устроена так убедительно, комфортно и презентабельно, как это принято по «современным» стандартам – увы, все более далеким от идеалов христианства.

Протоиерей Алексей Лисняк



Светлый кот



На этот раз синоптики не обманули. После туманных дней показалось солнышко.

Мы служили литургию в древнем храме, который не закрывался ни в войну, ни в революцию. Служили – я и тамошний настоятель – священник, может быть, в пятом поколении. Хор тихо и сладко пел, как, наверное, и двести лет назад. Лучик солнца просочился сквозь старинное стекло южного окна в алтаре и медленно пополз вниз по пережившим и холода, и войны фрескам. Маленький красноватый зайчик застыл на лике Спасителя. Потом, во время «Трисвятого», сонно переполз на жертвенник. Затем зайчиков стало много. Они перестали румяниться и заиграли на парчовых покрывцах, начищенных рипидах, на настоятельском облачении. А один огромный, светлый и как будто бы главный важно водворился на горнем месте, когда диакон принялся читать Евангелие. Такое великолепие обычно надолго впечатляет...

Диакон вручил настоятелю увесистое Евангелие и забасил сугубую ектению. Внезапно припомнилось, как лет двенадцать тому назад, в мою диаконскую бытность, в другом старинном храме и при другом настоятеле я так же однажды после Евангелия вышел на солею и почти остоленел от восхищения. Тогда я впервые отметил, что церковное солнце – какое-то особенное. Оно светило в окна купола, и зайчики забавлялись, прыгали по золотым царским вратам с одной завитушки на другую, с виноградной грозди на резной листок. Интересно, тогда были другие «зайцы» или те же, что и сейчас?

Летят годы, меняются эпохи. Вот уже лошадей заместили автомобили, фузеи сменились пулеметами, на место купцов и лабазников пришли брокеры и менеджеры. Когда-нибудь все это тоже уйдет, канет в историческую пропасть, а Церковный Веселый Свет останется. Эти же зайчики будут резвиться на макушках у других певчих, эти же лучи будут светить на тот же Вечный Евангельский текст – правда, читать его будет другой диакон, внимать – другие люди. Зато потом, когда все-все пройдет, а Церковь останется, на ее торжество соберутся все. Все, кто от века сумел оценить неповторимый Церковный Свет, и эта радость уже не кончится.

К концу службы зимнее солнце висело уже высоко. Настоятель проповедовал, я радостный стоял рядом и глядел на полтора десятка прихожан, утонувших в огромном лучистом

храме. В этом селе люди почти не утратили традиций: левую половину занимали женщины, а правую – пара старичков. Посреди церкви, под главной люстрой, сидел кот. Старый крепкий кот. Закончилась проповедь, миряне подошли «под крест». Настоятель, я и диакон удалились в алтарь и разоблачились, а кот всё продолжал сидеть. Он дремал под церковным солнцем и во сне покачивался из стороны в сторону. Когда последняя прихожанка вышла из церкви и в храме повисла тишина, мы услышали мурлыканье, временами походящее на храп. Я с любопытством глядел на полосатого прихожанина в приоткрытую вратницу. Мой интерес заметил настоятель:

– Что, нравится? Это Барсик. Мы его не замечаем, привыкли.

– А откуда он взялся? – любопытствую.

– Да он тут всегда был. Ну, конечно, не он, а там, предки его какие-нибудь. Но я вот лет почитай как тридцать тут служу, и сколько помню, что ни служба – он всегда на это место приходит и молит... ну, то есть, дремлет. Пускай сидит. Зато насчет мышей полный порядок.

Настоятель отыскал свою скуфью, и мы отправились к нему в дом перекусить. Проходя мимо полосатого мышелова, батюшка поприветствовал его: «Барсик! Кыс-кыс!» Кот упал на спину, скрестил лапки и ответил: «Мя-а».

«Для имени Моего...»



За недостроенной соборной изгородью – рынок. Шумно занимается «базарный день». По церковному двору разбросан кирпич, в бадье стынет свежий раствор. Каменщики распластались на траве, глаза закрыты, страдают. Шелестят вековые липы... Вчерашний праздник – День строителя – кажется, удался. Чуть поодаль, на скамье, певчие листают ноты, ожидают начала службы. С ними и я, тогда еще юный, привыкаю. Ласковое августовское утро...

Разглядываю кирпичный забор-долгострой. Нужен особый талант, чтобы так криво укладывать прямые кирпичи. У наших шабашников такой талант есть.

В узкую калитку протискивается великий мешок, под ним бабка Наталка – добровольная приходская повариха-кормилица. Она – сухонькая – ссутулилась под гнетом картошки, которую сама растит. Медленно приблизилась к певческой скамье, свалила мешок, улыбнулась, отерла рукавом лоб. Поглядела на каменщиков, перевела взгляд на долгострой и всплеснула руками:

– Да Божечки! Що наробылы! Це ж... Ой-ой! Це ж не для себе, це ж для Нёго! Вы подывитися! – Это она указала нам на феноменальную кривизну забора. Мы пожали плечами. Бабка Наталка заплакала, подошла к долгострою, принялась оглаживать его и причитать:

– Да голубчики, да хйба ж так можно?! Та вы ж для Бога...

Главный протонал:

– Отстань, бабка, что ты соображаешь! Это тебе не картошку варить!

Бабка в слезах натрусилась в ведро раствора, проворно собрала несколько кирпичей, взяла мастерок:

– Ото ж роблять, не дай Боже. Соби б – то инша справа, а то ж для Бога...

Она, тихонько причитая, уложила кирпич, другой...

Колокольня загудела благовестом. Удар, еще удар. Затем посыпался веселый перезвон. Когда он стих, бабка уже, как по струнке, выложила ряд. Удивленные шабашники со скрипом поднялись, усовестились:

– Ладно, чего уж, давай сюда. – Отобрали у поварихи мастеров, принялись колупаться. К вечеру недельная норма была ими – залюбуешься! – выполнена.

Бабка Наталка в приходе – народная совесть. Однажды она посетила нашу просфорню. За дверью слышалось слезное: «Що ж ты робыш, ластивко, це для Господа Бога. Ось так?» Долго оттуда не выходила. Появилась под вечер, вся в муке. С той поры просфоры из нашего храма нахваливает сам архиерей. Она напоминала пономарю, что он не себе, а Богу делает, и лампы в храме переставали коптить. В нужный момент являлась певчим; всхлипывая, просила у них ноты, чтоб самой тоже Бога «пославить, чи дастэ?» – и на хор переставали жаловаться.

...Тот мешок картошки... Пока бабка работала за каменщика, я – здоровый парень – попытался снести его на кухню... Попытка, говорят, не пытка. Пришлось покликать дворника на подмогу, только вдвоем и своротили.

Откуда в сухих постящихся руках являлась невечерняя сила? А в полуграмотном говорке – убедительность? Где – и себе бы этак, потом, в восемьдесят с гаком, – начерпать ее молодецкой бодрости?..

...На бабкиной могилке и теперь красуется вычурный кованый крест, лучший в округе. Всем приходом скидывались на ювелирную кузнечную работу, какой теперь никто не сделает. Узнали для кого – сделали! А под крестом, на кованом подножии, батюшка благословил, изготовили: тонкими золотыми буквочками древнее, библейское – будто девиз бессмертной бабки Наталки: «Для имени Моего трудился и не изнемогал».

Короткая сирень



Раньше, совсем недавно, сельское солнце сияло на церковные руины. Его тепло питало травку, которая покрывала купол, своды и карнизы. А теперь в лучах весеннего светила над храмом дрожит золотом крест. Возрождаемся, однако. Блики от креста золотят майские окрестности. И не захочешь – залюбуешься, будь ты хоть атеист-разатеист. Вхожу в церковный двор, улыбаюсь.

В тени сирени давит лавочку своими пономарскими костями Алексей Семенович. Грустный сегодня, а на дворе-то – Светлая!

– Христос воскрес, Семеныч!

Он слабо улыбнулся, ответил по уставу, как положено, и взял благословение. Интересно, откуда к нему пришла грусть – в такие-то святые дни? Поста будто не хватило напечатлеться.

– Да... – он махнул рукой, – и жизнь прожил, а в людях так и не разобрался. Сужу вот всех по себе: раз у меня в голове все просто, то и у других вроде моего...

И он поведал историю, которая убедила меня в том, что возраст и мудрость не всегда приходят к человеку одновременно. Явились, значит, к нему под вечер две будто бы чиновницы из района, пообещали будто бы по новому постановлению для пенсионеров уйму дешевых лекарств. Взяли деньги. Ушли за лекарствами... Всё.

Тем временем к церкви потянулись первые прихожане. Цветут, улыбаются. Семеныч отправился возжигать лампы. Полагаю, что его улыбку сегодня я вряд ли увижу, хотя... зная веру своего помощника...

Под стрехой сторожки возятся ласточки. И сирень!.. Ну до чего же пахнет сегодня! Первый год такая буйная!

На службе Алексея Семеновича отпустило: и «Воистину воскрес» он голосил громче всех, и на крестном ходе вокруг храма за его пасхальной рысью мы все еле-еле поспевали. Это вполне объяснимо. Что такое для верующего человека горькая печаль? Так, мелочь, дело

житейское, не больше. Оно, это дело, пройдет, как и всё на земле, забудется – и сам того не заметишь. Как эта сирень. Она и жизнь: не успела распуститься, глядишь – уже облетает.

Кроплю народ святой водой, а преобразившегося за службой пономаря обильнее всех:
– Христос воскрес!

– Воистину воскрес! – торжествуют без малого три десятка голосов. Вот это бессмертное веселье верно, что насовсем не исчезнет. Случается, мы забываемся, грустим, безобразничаем, но только забывшимся Господь Сам о Себе напомнит, и если не теперь – воскресной радостью, то после, когда наступит самый главный в жизни сороковой день, – как-нибудь иначе.

И он наступит, никого из нас не спросит. Поди-ка усомнись. Ну?

Иных напоминание об этом пугает. Намедни вот беседовал с соседкой Петровной и в разговоре по привычке между делом помянул Божий суд – этот самый наш сороковой день. Бедная Петровна! Она даже подпрыгнула: «Типун, – говорит, – тебе на язык!» И заплевалась через плечо. Будто бы это от окончания жизни помогает. Вот. А Семенычу перед службой о Божием суде намекнул, так он вмиг утешился, былая туга сразу отпустила, как будто бы и не крали у него. Обрадовался, успокоился, всю литургию пропраздновал. И едва успел погасить лампы, тут же поскакал за сиренью: «Не для нас, бессмертных, что ли, Господь ее создал? Иной год закружишься, а она тем временем раз – и облетела, попробуй верни ты ее».

Ох и быстро она отцветает-проходит...

Расставил Семеныч ароматную по всему храму и в вазах, и в ведрах, и просто так на окнах разложил. Соберемся к вечерне, а в храме весна.

Сашина философия



Осенний дождь... Когда он не прекращается несколько суток подряд, разбухает обувь. Квартиры пропитаны сыростью, холодные батареи не добавляют уюта. Зонты за ночь не просыхают, а только подвываются. А городская суета все равно не тормозится, процветает в любую погоду. Пешеходы спешат – хлюпают обувью, машины шелестят по мокрому асфальту – разбрызгивают лужи...

Изредка дождь сменяется моросью. В такие часы можно накрыться капюшоном и побродить без зонта, присесть на мокрую скамейку в тихом парке и помечтать.

Осенний дождь, мокрый асфальт... Теперь наступает самая пора ремонтировать дороги. Ну, так уж у нас складывается.

К слову, мою аллею асфальтируют. Любимая лавочка сегодня обрелась на «линии фронта». Как раз возле нее коптит бочка со смолой, а сама скамейка попала краем под курган щебня, который бабы в ярких жилетах расшвыривают лопатами. Присаживаюсь на другую сырую лавчонку, что врыта немного поодаль, и наблюдаю, как сонный мужик таскает ручной каток. Разогнав метлой лужу, бригада сыплет на ее дно щебень, сверху щебень заливают кипящей смолой и зовут сонного мужика. Тот катком трамбуется это новообразование и застенчиво улыбается, глядя, какая чудесная свежая опухоль парит, застывает на аллее. Технология, однако.

Со стороны чужие оплошности хорошо видны. «Вот, – думаю, – мужик. Тебе же все равно приходится закатывать здесь ямы? Приходится, да? Ну так делай же ты это ровно!» И сам удивляюсь, какая верная философия!

Впервые я услышал этакое премудрое восприятие бытия, когда познакомился с Сашей.

Добрые глаза, обширная лысина, небольшой рост, огромные кулаки. Сашу уважали. С первого взгляда нельзя было угадать, что он уже на пенсии. Впрочем, по возрасту он и не был пенсионером – заслужил на вредном производстве. Но бездельничать ему не нравилось, и он собрал себе строительную бригаду.

Как-то я наблюдал за работой его бригады, которая возводила капитальное строение. Совсем молодой плотник начинал ладить пол. Он только успел положить и закрепить одну доску, как явился руководитель. Саша хмуро взглянул на работу и приказал плотнику: «Отдирай. Отбрось подальше, потом пригодится. Теперь бери и выпиливай новую». Плотник повиновался. Прикинул рулеткой, выхватил из-за уха карандашный огрызок, нанес метку, ухватил ножовку и – айда, вперед – обед не скоро! Я был неподалеку и видел, как ножовка уходила в сторону от карандашной метки. Саша смотрел и молчал.

Когда парень оставил ножовку, бригадир приказал: «Эту доску тоже отложи, потом сгодится. Выпиливай новую». Плотник возмутился: «Ну ты чё, Сань, ё! Какого, ё!» Саша молча взглянул в плотницкие очи, и возмущения стихли. Парень смиренно взял новую доску, разметил и – айда, дружище, в рот тебе опилки! Ножовка снова проползла мимо карандашной метки. Саша положил руку на молодое плечо, остановил плотника:

– Послушай, Вася, тебе же все равно этот пол стелить? Все равно ведь пилить, правда?

– Ну?

– Ну так пили же ты, зараза, ровно!

Иногда Саша заглядывал в гости. Мы подолгу просиживали в беседке, говорили. Точнее, говорил он. На работе неразговорчивый, со мной он любил поболтать о жизни. Он был тем редким человеком, которого приятно послушать, ведь его биографические истории никогда не повторялись. Детство, школа, армия... Как будто ничего особенного, как у всех. Так, да не так.

Саша обладал редкой наблюдательностью, талантом из любого, даже самого пустякового события извлекать себе урок. «Если тебе все равно пилить, то пили ровно», – к примеру, так его дед когда-то учил его отца. Научил ли – неизвестно, но дедов урок, не предназначенный внуку, именно внук уловил и усвоил. Так Саша и жил – дышал окружающей его повсюду мудростью. Видел ее и впитывал. Потом делился.

Известно, что Господь всё делает для нашего спасения и разумения истины. Понимаем ли мы это? Саша, казалось, и это понимал.

Перед кончиной он тяжело болел. Лежал безропотно, улыбался приходящим проведать. Он силился делать вид, будто просто отдыхает, вот-вот поднимется и чем-нибудь займется. Только вот подняться так и не случилось. Когда я пришел его причастить, он уже не был похож на того, знакомого мне Сашу. На постели лежал другой человек, желтый, отекший, осипший. Боль мешала ему говорить, исповедоваться, но виду он не подал. Лицо кривилось от боли, а глаза светились неподдельным оптимизмом. За все Саша Бога благодарил. За радости, за Его помощь, за насыщенную жизнь...

Ему было немногим за пятьдесят.

Теперь покоится Саша под березой, рядом со своим отцом. Конечно, я поминаю его на службах. Но просто так, между делом, куда как чаще: подхожу к калитке – его работа – «упокой, Господи, с праведными...», отвинчиваю поливочный кран в церковном дворе – «дай, Боже, Царства Небесного». И куда ни взгляну по селу – то колодец, то чья-нибудь веранда – всюду Сашина рука – «вечную память подай, Господи»...

...Вот и время ползти по домам. Оранжевые жилеты потянулись к фургону-бытовке, и аллея опустела. По расписанию явились октябрьские сумерки. Морось ослабла, и стусился туман. В почерневших кустах бузины заплакала бездомная осенняя тоска. Холмики свежего асфальта лоснятся в фонарном свете. Зачем они здесь? Выбитая аллея смотрелась без них гораздо лучше. С почти что голых лип капает...

Иду. Впереди прямая дорожка теряется в мокрых сумерках, и конца ей не видно! Но я точно знаю, что сколько бы путь ни тянулся, он все равно закончится. Даже если в это и не верить.

И раз уж все равно дороги не миновать, не лучше ли было бы пройти ее по-Сашиному, ровно...

...ДО КОНЦА.

Протоиерей Ярослав Шипов



Русалки



В тридцати километрах от малого города С. есть озеро. Лежит оно среди огромных болот, отчего и собственные его берега большею частью заболочены и непроходимы. Впрочем, с одного края к воде узкой гривой выходит сосновый бор, а с противоположной стороны тоже есть клин посуше – там клюква.

К началу двадцать первого века народ славного городка оказался в такой нищете, что, подобно древнейшим предкам, выживал за счет собирательства: спасали грибы и ягоды. Грибы шли на пропитание, а клюкву сдавали заготовителям, получая взамен денежные купюры.

И вот как-то осенью три подружки отправились на ягодный промысел. Одна была женой священника, другая – учительницей литературы, а третья – директором краеведческого музея. Сначала батюшка довез их на старом уазике до деревни, где жил знакомый лесник, а оттуда в прицепе колесного трактора компанию отволокли к месту трудового подвижничества. После чего трактор уехал.

Они ползали по болоту до темноты, а ночевать забрались в прицеп: дощатый пол его был устлан свежайшим сеном, поверх сена – матрасы, на них – спальные мешки. Легкая непромокаемая ткань крепилась к бортам специальными петельками, укрывая прицеп на случай дождя, то есть опочивальня была вполне уютной и понравилась женщинам. Они уже не один раз ездили в этом году за клюквой, однако ночевали на болоте впервые: сами придумали, чтобы не мотаться туда-сюда, не тратить на дорогу драгоценное светлое время – по темноте из этого мха не выберешься.

Отползав еще один день, подруги благополучно возвратились домой, и жизнь своей чередой продолжилась.

Недели через две к священнику прямо на улице подошел охотовед и предъявил претензию странного рода: дескать, читал он в газете батюшкину статью о процветающем в здешних краях язычестве и считает статью неправильной. Мол, при чем тут умственные заблуждения, если озеро переполнено натуральнейшими русалками. Охотовед был человеком, накрепко завязавшим, а кроме того, – настоящим охотником, то есть в своем историческом развитии

стоял на ступеньку выше примитивных собирателей ягод, и священник задумался. Дальше выяснилось, что некоторое время назад охотовед ездил на озеро – как раз туда, где сосновый бор: там берег твердый и можно даже в воду зайти. Ночевал в кустах, огня не разводил, чтобы не потревожить уток. И вдруг с озера – то вой, то хохот.

– Я, – говорит, – выстрелю – тишина, а потом по новой хохочут... И так до утра... Только на рассвете затихли. А может, я их всех порешил...

– Так ты что же, прямо в них и стрелял? – Батюшка тянул время, чтобы разобраться в происходящем.

– Конечно! Жуть страшная!

– Ну а если бы ранил – как потом на мотоцикле везти: у них ведь ног нету... Опять же, группа крови у них какая?

– Какая?

– То-то и оно...

– Я без смеха – жуть, говорю! Могу поклясться на Библии!

Но тут в сознании священника затрепетали вдруг некоторые подозрения, и он пригласил охотоведа к себе домой. Когда матушка разливала чай, он поинтересовался, хорошо ли им спалось во время ночевки в болоте.

– На той стороне всю ночь кто-то бабахал – перепились, наверное.

– А вы что делали?

– Мы? – Она повспоминала-повспоминала. – Болтали, наверное... может, пели...

– А что именно пели?

Надо отметить, что у матушки было музыкальное образование. Она регентовала в храме и сумела взрастить сносный хор, который почти до слез ублажил архиерея, приехавшего на престольный праздник.

Ночной концерт начался с «Песни Сольвейг» Эдварда Грига. Пришлось дважды повторить ее на бис. И все это под канонаду, доносившуюся с другого берега. Потом учительница пересказала подружкам сюжет «Пер Гюнта», а заодно и других пьес Ибсена, которые она некогда прочитала. Подружки были в восторге от норвежской действительности, и, кстати, когда барышня излагала драматические произведения, никто не стрелял. Жаль, что Гамсуна она не читала: хватило бы пересказывать до утра, и, глядишь, тогда не впал бы охотовед в языческое искушение и, возможно, добыл бы каких-нибудь уток. Но тут музейная директриса решила блеснуть научными знаниями – а она готовила кандидатскую по частушкам, – и началось такое!.. Конечно, в рамках приличия – диссертация ведь, для печати, но они рыдали от смеха, пока силы не кончились. К этому времени охотник расстрелял все патроны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.